



## "Хозяйка гостиницы"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы  
в онлайн-библиотеке  
[mir-knigi.org](http://mir-knigi.org)

## ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ

1

В тысяча девятьсот тридцатом году Верочка Бутова кончила школу. Ей было восемнадцать лет, и она была счастлива.

Ранним утром, только что искупавшись, раскинув по плечам мокрые, соленые волосы, она шла по берегу моря. Розовенькое ситцевое, впервые надетое платье дулось на свежем ветру; спереди оно прижималось к коленям и бедрам, сзади — струилось и хлопало, провожая хозяйку множеством легких аплодисментов. Над головой Верочка размахивала стареньким красным купальником; восхитительно яркий, пока не просох, он взвивался, опадал и вспыхивал флагом. Невысокие волны одна за другой взбегали на берег, круглились, рушились и отступали, оставляя за собой мелкий шепот исчезающей пены. В песке свежо сверкали разноцветные, волной умытые камни. Море тоже было разноцветно: вблизи отливало желтым, дальше — зеленым, бутылочным, а еще дальше уже не отливало, а стояло сплошным монолитом пламенной синевы. Вдалеке, на невидимой нити между небом и морем, белой жемчужинкой завис небольшой пароход, идущий и неподвижный, — светлая точка настоящего между прошлым и будущим. Белые чайки с черноокаймленными, будто в тушь обмакнутыми крыльями носились над морем, время от времени молниеносно снижаясь и припадая к воде. В их клювах угадывалась цепко схваченная серебряная добыча. Вольная жадность чаек, их ширококрылая свобода была заразительна; Верочка шла широкими шагами по скрипящему, шевелящемуся живому песку, размахивала флагом, и ей хотелось всего. От полноты души она пела немаленьким своим, но не совсем верным голосом старый романс, запетый целыми поколениями русских девушек, начавший жизнь в гостиных и закончивший в кухнях и прачечных, — романс о белой чайке и загубленной женской судьбе:

*Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды.*

*Над озером быстрая чайка летит...*

Впереди, за мысом, четко врезанным в голубизну, уходила вдаль узкая полоска пляжа, бедная песком, утесненная корявыми скалами. Берег в этот ранний час был пустынен, и только далеко вдали шла, перебирая ногами, то ли сюда, то ли отсюда, одинокая фигура человека в темном.

2

Верочкино детство было бедное, трудовое, но светлое, солнечное, все в маках.

...В хатке прохладно, ветерок гуляет от окна к окну, колышет тюлевые гардинки; они накрахмалены, коробятся жесткими складками, шуршат, задевая о фуксии, и время от времени какая-нибудь из фуксий роняет розовый каплевидный нежно висячий цветок. Сложно пахнет яблоками, тмином, полынью, недавно сбрызнутым глиняным полом; он просыхает неровно, пятнами; чуть приотптан с одного боку чистый пестрый лоскутно-вязаный половичок. Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть — сверху вниз или с боку на бок. В углу икона — Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой — лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем

потрогать, шершавы.

Верочка выходит из хаты, и светлая жара кладет ей на голову горячую руку. Стрекохуч кузнечики, воздух полон их знойным звоном. Земля под ногами пыльна, горяча; цепочкой печатаются на ней детские босенькие следы. Вокруг огорода — плетень: разновысокие колья плотно перевиты прутьями; кора кое-где отстала и висит на лычках, обнажая голое гладкое дерево. Красная букашка с черным узором ползет по колу вверх, устремляясь туда за каким-то никому не ведомым букашечьим делом. На самых рослых кольях сушатся кверху дном смуглые глечики в неровной поливке, солнцем сияет пузатая бутыль слоистого водяного стекла. Зеленеют пахучие укропные зонтики; высокий подсолнух выше плетня поднимает тяжелую свою желтую голову. Внизу, у его твердой граненой ноги, жмутся к земле замысловато изрезанные пыльно-зеленые арбузные листья. А вот и сам арбуз, он величествен, полон тяжелой круглотой, одна сторона — темно-зеленая — жарко нагрета солнцем, другая, нижняя, бледна и прохладна; Верочка всегда норовит потрогать арбуз, чтобы еще раз убедиться, какие у него разные щеки. У плетня крутится штопором, цепляясь за прутья усами, хитрый вьюнок по имени «крученный паныч»; его крупные нежные сине-лиловые колокольчики, яркие внутри, бледные снаружи, направляют широко разинутые раструбы во все стороны, приглашая пчел. Цветок паныча живет один день — утром разворачивается, а к вечеру уже никнет лиловой тряпочкой. Сорвешь его — сразу завянет, ставь его в воду или не ставь. Верочка тянет к себе, не срывая со стебля, самый большой колокольчик и окунает в него нос по самые щеки. Цветок слабо и сладенько пахнет; когда его нюхаешь, он словно бы всхлипывает и тонко-тонко приникает к ноздрям.

А больше всего в огороде маков. Стройные, сомкнутые, они похожи на веселое войско. Ветер качает маки, они клонятся, и видно, как они разноцветны — розовые, абрикосовые, белые, махровые и полумахровые, и простые красные с черно-лиловым сердцем. Верочка в высоких маках ходит как в лесу, и цветы качаются выше ее светленькой головы. Бабочка-капустница порхает над маками и невзначай садится на Верочкину голову, как на цветок.

3

Семья Бутовых жила на окраине большого богатого приморского города. Город-то был богат, а они-бедны. Верочка с детства привыкла знать, что они, Бутовы, бедны: в доме мало было денег, мало вещей, маловато еды, но это ее не огорчало. Вообще она была девочка веселая, с вечным лучом радости на кругленьком лукавом лице.

Нравом и веселостью она уродилась в отца. Отец, Платон Бутов, был человек веселости неистребимой, хотя и крепко ударила его жизнь. С германской войны вернулся без ноги, да еще и отравленный газами — с тех пор у него внутри что-то свистело. Верочка любила слушать, как в папе свистит, он ей это охотно позволял, прижимая ее маленькое, мягкое, пакетиком складывающееся ухо к своей широкой груди: «Слышь ты, какая музыка». Верочка думала, что отец грудью насвистывает нарочно, для смеху. Посмеяться-то он любил. Был он большой, выше притолоки, ясноглазый, с прямым соломенным чубом. Когда играл на балалайке, чуб прыгал. Иногда Платон пытался даже петь, но быстро замолкал, схваченный одышкой, и глаза допевали остальное. Одевался он чисто, даже щеголевато, единственный сапог начищал до зеркального блеска, бороду брил каждый день, а рыжие усы закручивал кольчиками, как у Кузьмы Крючкова — знаменитого казака-героя. Свою деревянную ногу сам раскрасил, расписал цветами и птицами и так весело стучал по горнице, что никто про него не сказал бы «калека». Верочка вся уродилась в отца — и глазами, и соломенным блеском волос, и веселым неуныванием. Женя, младшая, та больше походила на мать — смуглая, длиннорукая, сердитая. Мать, Анна Савишна, была сердитая не отроду, а от тяжелой жизни. Пенсия мужу-инвалиду шла грошовая, деньги падали, цены росли. Мать промышляла шитьем, часами стуча

на ножной машинке, зингеровской, еще приданой своей. Верочка, сколько себя, так помнила эту машинку — золотопестрые узоры и крупную букву "З" на толстой черной ноге, быстрое снование светлой иглы, жесткий запах новеньких ситцев — розовых, голубых, крапчатых, из которых мать шила платья и кофточки окраинным щеголихам. Верочке доставались обрезки — длинные или треугольные лоскутки, в которые она заворачивала своих кукол (а куклами были у нее маковые головки). Еще мать зарабатывала поденщиной, ходила в город к богатым барыням стирать кружевное белье.

Верочка у отца научилась смеяться, а у матери — работать. С самых малых лет, с пяти-шести, она матери помогала и по дому, и в огороде. Цапка большая, вдвое выше Верочки, но она кое-как приспособливалась: перехватит рукоятку пониже, бьет по сорняку коротеньким, детским замахом. Мать по воду — и она с ней; мать — с ведрами, Верочка — с кувшином. Кувшин, когда без воды, — легкий, а с водой — налитой, тяжелый, и вода в нем прыгает, чуть что — через край. Капли разбегаются по пыльной земле, не смачивая ее, оставаясь шариками.

Женя, младшая сестренка, была слаба здоровьем. Фельдшер нашел у нее английскую болезнь, велел поить рыбьим жиром. Рыбий жир стоил дорого, покупали его в аптеке, где за окном прекрасно сияли налитые разноцветными жидкостями стеклянные шары: зеленый, малиновый, солнечножелтый. Аптекарь, старенький немец в чистейшем халате, был робок, держал голову низко, припратив ее между плеч, словно перед ударом. Он гладил Верочку по голове, говорил: «Oh, frommes Kind!», дарил ей флаконы и коробочки из-под лекарств с длинными бумажными хвостами, где было что-то написано.

Женька рыбий жир пила плохо, приходилось ей нос зажимать, чтобы она рот открыла, и тогда залить туда ложку силком. После этого начинался рев. Ревела Женька долго и нудно, басовым голосом, по целым часам. Сядет и ревет, словно деньги зарабатывает. Верочка этого рева терпеть не могла, а мать за Женьку заступалась: «Она еще маленькая». Вообще она младшую дочку, наверно от жалости, больше любила. Зато Верочка — папина радость, отец на нее не надышится. Тележку ей смастерил, клетку для соловья, только самого соловья еще не было, дорого стоит, но отец обещал купить, когда разбогатеет.

Он твердо верил, что разбогатеет, да не один, а со всем трудовым народом, дай только разберемся. А пока что было трудно. Мать ужом крутилась, чтобы выгадать лишний двугривенный. С огорода многого не возьмешь, что вырастили, то и съели. Ели они борщ три раза в день: утром, в обед и вечером. Борщ когда какой — по доходам. Чуть получше с деньгами — и борщ пожирней, с мозговой косточкой. Похуже — борщ постный, с чесноком и фасолью. Совсем плохо — борщ почти из одной ботвы. Забелить нечем, коровы нет. Мать брала молоко у соседки Дуняши за деньга, по глечике в день. Пила одна Женя — она маленькая, да и здоровьем слаба. Наливали ей кружечку молока, в руку — половину баранки, она и тут ухитрялась реветь — зачем баранку сломали. При грозе молоко кисло, и мать давала Верочке простоквашу — Женька-капризница кислого не ест. Такого — да не есть! Простокваша прямо с погребца, голуба, холодна, чудесно режется ложкой на нежно — плотные, дрожащие куски. Кусок лежит на языке и медленно тает, а ложка уже идет за другим, и опять, и опять, и вот уже видно дно, и радость кончается, но не совсем, потому что можно еще высунуть язык и, упираясь носом в тарелку, вылизать ее дочиста. Верочка любит простоквашу и, значит, любит грозу, радуется, когда пухнут на краю неба синие тучи.

Тучи приходили с моря. Бутовых хата стояла у самого моря на высоком, крутом берегу. Ниже летали чайки, выше — ласточки. Красный глинистый берег увалами спускался к морю и был весь изрыт, расщемлен оврагами. Весной по ним бежала вода, глыбами ворочая глину. Овраг — по-здешнему «враг». «И подлинно, враг, — говорила Анна Савишна, — верно сказано: да воскреснет Бог и расточатся врази его». Начал уже враг подбираться к бутовской хате,

подмывал основание, рвал из плетня колья, грыз по краям огород, как ни боролась с ним Анна Савишна, подсыпая землю и камни, подпирая, ухичивая свое жильё.

Близко море, а ходить некогда. Пока сходишь туда-обратно, полдня как не бывало, а работа не ждёт. Изредка все же ходила мать искупаться, брала с собою девчонок. Жене, по слабости здоровья, купаться было нельзя, но сидеть в горячем песке фельдшер ей посоветовал, говорил, что хорошо от английской болезни. Потому и ходила мать к морю, сидела на пляже, как барыня. Она раздевала Женю, закапывала ее до пояса в песок. Продолговатые сыпучие холмики повторяли очертания длинных слабеньких ног. Мать садилась рядом и, совестясь, отдыхала, глядя на слепящее море из-под коричневой узкой ладони. Сидела она одетая, в том же старом темненьком платье, в котором работала, шила, стирала. Решив искупаться, она быстро, стыдливо раздевалась и шла к воде, в своей длинной сборчатой рубахе, придерживая ее для приличия горстью у горла. Глубокая, почти лиловая чернота лица, шеи и рук резкой чертой отделялась от остального, незагорелого тела — казалось, матери и впрямь в пору было стыдиться такой белизны. Войдя в воду по пояс, мать крестилась и трижды окуналась по шею, обняв себя руками за плечи. На этом купанье кончалось, она выходила вон из воды. Кристальные струи стекали с мокрой рубахи, четко обозначалось все стройное, узкое тело, облитое прилипшей, лучами расходящейся тканью. Мокрая, выходящая из воды мать походила на серебряную рыбу, вставшую на хвост; Верочка следила за ней с восторгом, обнимая глазами, оглаживая. Но Анна Савишна стыдилась даже дочерних глаз. Она и в баню-то ходить не любила, все из-за жестокой своей стыдливости. Искупавшись, она торопливо одевалась и снова повязывалась платком по глаза.

А Верочку из моря клещами не вытянешь. Давно уже пора домой, а она все бродит по мелкой теплой воде, волны гуляют туда-сюда, все это снует, торопится, блещет. Маленький краб резво и ловко боком-боком бежит по песку и прячется у подножия камня. Камень бросает глубокую тень, где сторожко отстаиваются почти невидимые, песчаного цвета бычки. Плывет голубая медуза; ее студенистое, зыбкое тело полупрозрачно, недолговечно, быстро сохнет на горячих камнях и становится белой пленкой.

— Верочка, домой! — кричит мать. А она как не слышит. — Кому говорю? Вылезай!

Она еще медлит. Сладко и опасно медлит.

— Ве-ра! — враспяжку, по слогам произносит мать. Ну, тут уже пахнет ремнем, ничего не поделаешь, надо идти.

Подъем крут, тяжел. Из-под ног сыплются камни. Жидкие кустики маслины, цепляясь, тоже ползут по красноватому склону; их острые, удлинённые листья на серой подкладке похожи на перочинные ножички; когда подувает ветер, кусты подергиваются серебряной дымкой. Женя устает, начинает реветь, мать берет ее на руки и, согнувшись, несет в гору. У Верочки руки свободны, она цепляется за кустарник. Тонкие, узколистые прутья непрочно сидят в земле, легко вырываются с корнем; взмах в воздухе пыльного кома — и скольжение вниз на коленях, а то на задку. Мать бранится. Солнце палит. Когда после такого солнца войдешь в хату, перед глазами долго еще плавают радужные круги. Радостно хочется пить, звякает ковшик, и глоток холодной воды, чуть отдающей ржавчиной, наполняет живот и все тело немислимым счастьем.

4

Вообще Верочка жила животом. Именно там, в животе, был у нее источник непрерывного счастья, и там у нее екало, когда думала о приятном.

Много приятного на свете. Приятно есть. Приятно купаться. Приятно ходить в город с матерью на постирушки.

Мать наденет ей желтенькое, цыплячье платьице с оборками, берет за руку и ведет. Кончается знойная балка, и вот уже город.

Улицы широки, вымощены красноватым булыжником. По краям тротуаров каменные столбики, у которых собаки, весело вскинув ногу, справляют свои дела. Круглые тумбы пестрят афишами. Над окнами магазинов большими шатрами раскинута полотняные навесы — маркизы, края у них с фестонами, обшиты красной каймой. Ветер вскидывает фестоны, и кажется, что город нарядно летит. В тени акаций, пронизанной солнечными кружочками, цветочницы продают розы. Цветы стоят и лежат в ведрах, в тазах, в суповых мисках. Колкие стебли не сжаты, не стиснуты, вольно разбросаны, розы прохладны, сбрызнуты каплями, пахнут. Запах притягивает Верочку, как пчелу. Уже пройдя мимо роз, она все оборачивается. «Не вертись!» — говорит мать и легонько, небольно шлепает ее по руке. Рука у Верочки пухлая, как булочка, и от шлепка слегка зарумянивается.

Вот они приходят в дом — большой, каменный, трехэтажный. Черный ход — со двора. Двор глубокий, прохладный, с чинарой в углу. Дети крутят скакалку, играют в «классики». Верочка с ними бы поиграла, да некогда ей — надо матери помогать.

На кухне жарко, светло, разноцветно, медные кастрюли блестят розовым, самовар — желтым. В самоваре смешно отражаются вещи и лица. Верочка смотрится в самовар и смеется: глазки у нее становятся мелкими, как пуговицы, а нос лезет вперед, распухает. Мать не любит, когда Верочка смотрится в самовар, и нарочно завешивает его салфеткой.

Белья целая куча. Мать стирает в большом корыте, Верочка — в маленьком тазике. Бело-синее жуковское мыло скользит в руке, только недоглядишь — вывернется, и на полу. Дыбится пышная пена, вся из радужных пузырьков. Мать стирает, низко согнувшись, не снимая платка; спина у нее все чернеет и чернеет от пота.

Кухарка готовит обед на огромной плите, что-то напевает, постанывая; шипит выкипающий суп, резво бегают капельки по раскаленному чугуну, сытно пахнет мясным наваром. После стирки кухарка зовет прачек обедать; прежде чем сесть за стол, обе крестятся, мать — распаренной, синеватой рукой, Верочка — мягкой булочкой. Кухарка садится с ними, но сама не ест, только вздыхает. Обед хороший, господский. Верочка до того наедается супом, что живот у нее выпирает мячиком. Для второго и места нет, а жаль — на второе котлеты. Верочка, из жадности, все — таки просит котлетку, но есть уже не может, отщипнет кусочек и отваливается, молчит, мигает. Котлету, ворча, доедает мать.

После обеда идут во двор — вешать белье. Мать стоит на табуретке, а дочка снизу ей подает тяжелые, винтами скрученные жгуты. Мать встряхивает простыню, расправляет — легкий хлопок, и она уже висит, прищемленная за концы, изгибается, дуется парусом.

Просохшее, чуточку влажное белье пахнет свежестью. Верочка с матерью гладят. У матери большой духовой утюг, похожий на паровоз, сзади огненный глаз, впереди труба. Утюг ходит танцуя, из-под него воздушно встает махровая, пенно-белая кружевная оборка, и вся блузка, когда готова, не виснет на пальце, а взлетает облаком. Гладить кружева и оборки Верочке пока не дают, гладит она что попроще да попрямее, самым маленьким утюжком, но и тот для нее тяжел. Поднимает она его двумя руками, но гладит исправно, не сожжет, не запачкает. «Ось гарна дивчина!» — вздыхает кухарка и дает Верочке леденец. Верочка сама леденца не съест, сохранит для Женьки. Младшую сестру она любит сердитой любовью.

Белья много, гладят до вечера. Вечером идут домой. Улицы ярко освещены, шипят газовые фонари, гуляет нарядная публика, качаются махровые шляпы, звенят офицерские шпоры, и все это — как сон. Красные розы в газовом свете кажутся черными. Верочка опять засматривается на розы, робко, ожидая окрика, но мать уже до того устала, что забывает ее одергивать, идет как во сне.

А дома, над обрывом, — тишина, темнота, хаты спят, редко светится розовое окно. Звездное небо шевелится складками. Над морем шарят, скрещиваясь и расходясь, длинные лучи прожекторов. Домашний запах хаты зовет ко сну. Голова становится мягкой, валится. Верочка только успевает донести ее до подушки — и уже спит.

Пока мать с Верочкой в городе, отец дома сидит, нянчит Женьку и расписывает деревянные ложки. Платят ему по копейке за штуку.

5

Платона Бутова в молодости прозвали «Светит месяц» за то, что мастерски играл на балалайке известную эту песню — играл с переборами, с дребезгом, с лихим стуком костяшек по треугольной деке. Так и подмывало от этой песни, так и несло в пляс. Был он чудак, заводила, шутник, враль. Бывало, такого наврет, хоть святых выноси. Врал, а правду любил. Грамоте знал хорошо. Выпить тоже был не дурак, но до положения риз не напивался, а выпивши, брал балалайку и начинал играть на ней божественное. Поп, отец Савва, старик свирепый, грозил ему за это божьим гневом.

Был Платон беден — ни овцы, ни курицы, ни семьи; изба — развалюха подперта кольями. Отец с матерью давно померли, почти ничего йе оставили сыну, а что оставили, то он роздал. Легок был на руку, мог отдать последнее и не вспомнить. Девки по нем обмирали, он их не отпугивал, но и жениться не торопился. Какая-то веселая непутевость кидала его из стороны в сторону. Кормился он, батрача у богатых мужиков, деньгами не дорожил, ел за двоих. Был у него живописный дар, мог бы деньгу зашибать, расписывая сундуки да ставни, но куда там — не мог усидеть на месте. Что заработает — прогуляет с приятелями, а то нищему отдаст — и опять гол как сокол.

Никак не мог ни к чему прислониться, пока не полюбил Анку Морозову — попа Саввы дочь. Где уж они повстречались, где слюбились — неизвестно. Поп Савва с попадьей Маланьей дочку держали в строгости, ни боже мой — никуда не пускали, была она уже просватана за семинариста из Киева, которого ожидал в торговом селе богатый приход. С собой Анка была красавица — высока, ровна, смугла без румянца, глаза бархатные, как камышовые свечи. А уж скромна — не ответит, не улыбнется, глаза в землю — и мимо. И вот приворожил ее «Светит месяц» — пустобрех, балалаечник, голь перекатная, за душой ничего, кроме той балалайки да розовой рубахи, в праздник носить. И никто ничего про них с Анкой не знал, пока не случилась беда. А беда открылась, когда уже была девка на пятом месяце. Матушка — попадьья волосы на себе рвала, отец Савва ногами топал и клюкой замахивался, да что поделаешь — проворонили дочь. Пришлось срочно ее за Платошку-бездельника выдать. Поп Савва сам их и обвенчал, венчал, негодуя, а когда дьякон возгласил: «Жена да убоится своего мужа», сплюнул в сторону. Однако не проклял, выдал дочери даже приданое — сколько-то деньгами и швейную машину «Зингер».

После свадьбы Платон Бутов остаться в селе не захотел, а увез свою молодую в богатый и веселый приморский город, где думал и жизнь начать богатую и привольную. На приданные деньги купили они хату с огородом на высоком крутом берегу, где внизу летали чайки, а сверху — ласточки. Еще купили двуспальную кровать с шарами и граммофон с лиловой трубой,

расписанной золотом. На стене повесили балалайку и стали жить-поживать, проедать приданные деньги. А их и немного оставалось.

Но Платона это не тревожило, он вообще деньгам счета не знал, была у него поговорка: «Будет день — будет пища». По вечерам он заводил граммофон, ставил его на окошко, а сам выходил с молодой женой наружу, на холодок. Они сидели, обнявшись, глядя на море, и слушали, как сладко рыдал граммофон, негромко, на два голоса, ему подпевая.

Иногда в море появлялся корабль и, светясь огнями, медленно шел по темной далекой воде; в такие минуты у Платона внутри что-то ныло и замирало. Эх, пошел бы он в порт, нанялся матросом, повидал бы дальние страны. Слона, обезьяну увидел бы не в зверинце, а так. Но жалко было жену — даже такую, тяжелую, подурневшую, он ее крепко любил. Наслушавшись граммофона и насмотревшись на море, они шли в хату и ложились в новую двуспальную кровать, спали тревожно, под звон пружин, и нередко по ночам посещали Платона шальные мысли, что, мол, кончилась веселая жизнь, что зря он себя связал, хотя бы и с этой, с любимой.

Когда родилась Верочка, он сперва огорчился, как всякий отец, получив дочь вместо сына, но скоро об этом забыл. Поносив девочку раза два-три на руках, он уже любил ее без памяти. Влажная щека, порхающий глаз, волосы нежные, цыплячьи до того были пронзительны, что он даже стонал. Позднее, когда Верочка научилась уже улыбаться, он мог сидеть часами, наклонясь над ребенком, щелкая, чмокая, весь выходя из себя, лишь бы еще раз увидеть святую, беззубую эту улыбку.

Верочка росла на диво спокойным ребенком, плакала редко, спала хорошо. Утром, проснувшись, играла своими ножками и весело гугукала, будь хоть мокрым-мокра. «Здравствуйте, барыня, Вера Платоновна!» — говорил ей отец, и она смеялась. «Здравствуйте, барыня, Вера Платоновна!» — повторял он, выдвигая голову, как бы бодеясь. Эта шутка имела вечный успех. В ответ на нее Верочка вся исходила смехом, чуть дребезжащим, счастливо икающим. Слушая ее, отец тоже начинал смеяться и не мог перестать. Взаимный смех доходил до полного восторга, до исступления. Не зная, что уж и делать, отец хватал девочку и подбрасывал к потолку. Она падала ему на руки толстеньким ангелом, вся раскинувшись, словно паря. «Будет вам, оглашенные!» — притворно сердилась мать, а сама тоже смеялась, рот прикрывая платком. Но глаза были печальны будущее ее тревожило. Платон полдня играл с дочерью, а в свободное время учил скворца говорить.

Тем временем кончились приданные деньги. Пришлось продать граммофон. Анна Савишна жалела красивую, нарядную вещь, а Платон говорил беспечно: «Что с него? Только угол занимает...» Скоро проели и граммофон. Платон продал кровать с шарами. Задешево продал, половины не выручил, что сами платили. Анна молчала, про себя жалела не кровать, а расшитые поднизи, которые Платон задаром отдал вместе с кроватью. Спали они теперь на полу, и снова Платон говорил, что так даже лучше, прохладнее, что ему ночной звон надоел. Звону теперь и правда не было — тихо спал Платон, подложив под голову сильный белый локоть, тихо дышала Верочка, тихо лежала Анна Савишна, тревожась о будущем.

Скоро прожили и кроватные деньги. Платон замахнулся было на швейную машину, но тут уж Анна Савишна встала стеной: «Не отдам! Она еще нас кормить будет!» Впервые она осмелилась перечить мужу. Платон несказанно был удивлен, посмотрел на жену, как на диковинного зверя, потом махнул рукой и засмеялся: «Ну, бабы!» Не сказавши, не посоветовавшись, пошел на завод наниматься. Там ему не понравилось: душно, грохочет, железом воняет. Нанялся в батраки к соседу — мельнику, чинил ветряк, подсыпал зерно, мешки таскал с утра до ночи. Придет весь в муке, брови белые. Жена ему подает умыться. Платон брызгается, фыркает, усталость с него сходит водой, он усмехается похудевшим,

скуластым лицом, вскидывает голову: «Ничего! Мы еще с тобой поживем!»

Жили бедно. Мельник оказался нудный, прижимистый. Работал у него Платон почти за одну только пищу — хозяин за каждую копейку готов удавиться. Денег домой приносил Платон мало и редко. Иной раз и до дому не донесет, по дороге отдаст кому попало, а то купит пустяк какой-нибудь: свистульку, ножичек. Анна Савишна мужа безденежьем не попрекала. Что теперь делать? Сама такого выбрала, сама полюбила, сама и терпи. В ее бедной трудовой жизни муж был как предмет роскоши, как граммофон.

6

В четырнадцатом году грянула война. Платона Бутова сразу же взяли. Ушел веселый, Верочку подбросил, потискал, жену поцеловал трижды со щеки на щеку, заломил фуражку и был таков. Анна Савишна вспомнила, какой он был веселый, когда еще ходил в женихах и звали его «Светит месяц», уронила голову на стол и заплакала. Может, там, в солдатчине своей, без домашних забот, снова месяцем станет Платон? Только бы не убило, не искалечило...

Стала жить одна с дочкой Верочкой, поднимать ее, поджидать мужа. Жила своими трудами: поденщиной, стиркой, шитьем. Руки у нее потрескались, коричневые глаза потускнели, подернулись сизым.

Платон вернулся через год без ноги, да еще отравленный газами. Анна Савишна и плакала, его жалея, и радовалась, что хоть такой, а вернулся. Не работник, а все же живой. Видно, всю жизнь не ему меня, а мне его кормить. Стала своими трудами кормить и мужа, и себя, и дочку Верочку. Через год родилась у них еще одна дочка, Женя. Тут уж Платон совсем расстроился: ждал сына, а снова девка. Даже поглядеть на новую дочку не пожелал. Потом — что поделаешь? — глядел, но без удовольствия. Длинная какая-то уродилась, слабая, вредная. Верещит всю ночь, да с надрывом. Верочка-то, бывало, камушком спит: как легла, так и встала. Анна Савишна все пыталась приохотить его к ребенку, помня, как он с Верочкой играл, но все напрасно: Платон вторую дочку так и не полюбил. А мать, ее жалея, еще пуще любила. Когда прогнали царя, Верочка была еще мала и плохо понимала, что происходит. Царя она знала по портретам: красивый, русобородый, он помещался где-то вверху, рядом с богом. Теперь его прогнали. Куда прогнали? Как? Думая о том, что прогнали царя, Верочка вспоминала, как гнала мать с огорода соседскую курицу: мать гонялась за нею с метлой, а курица громко кудахтала. Может быть, царь тоже кудахтал? Но понемногу все становилось яснее. К отцу ходили разные люди, соседи и дальние, сорили на пол, дымили махоркой, спорили, стуча кулаками. В разговорах звучали новые слова: «Петроград», «революция», «республика». Отец был за республику, Верочка — тоже. Ей нравилось, как оно звучит, мячиком: «Республика!» Мельник был за царя.

Отец говорил, что без царя начнется для всех новая, красивая жизнь, не будет ни богатых, ни бедных, все будут равны. «И розы у всех будут?» — спрашивала Верочка. «И розы, — отвечал отец, — погоди, разберемся маленько, будут тебе и розы». Верочка ждала терпеливо, пока разберутся — красивой жизни все еще не было. По-прежнему одни были богатые, другие бедные. Мать жаловалась на дороговизну, еле сводила концы с концами. Тот же борщ, реже мясо, чаще ботва. А в городе все сменялись разные власти. Вечером стреляют, а на завтра, гляди, — новая власть. Были немцы, были румыны, петлюровцы, самостийные. Были белые, были зеленые, а в промежутках — красные. Отец был за красных, у него в хате сходилась беднота, батраки и судьбой обиженные, пели «Варшавянку», кричали: «Долой буржуев!» Кто-то донес, и отца посадили в тюрьму. Когда его уводили, мать птицей металась, кричала: «Не троньте калеку!» — а отец сказал ей: «Молчи, глупая баба». Уходил он вольно, весело между двумя солдатами шел, сверкая белой спиной в новой, нарядной рубахе, и Верочка еще долго видела, как

двигалось вверх и вниз его подпертое костылем плечо. Пока отец сидел в тюрьме, мать носила ему передачи, один раз взяла с собой Верочку; в окне за решеткой она увидела бледное чужое лицо с поникшими, спутанными усами. «Помахай папе», — сказала мать, Верочка махать не захотела, заплакала.

А когда насовсем пришли красные, отца выпустили из тюрьмы и привезли домой на телеге. После тюрьмы он стал не такой, как прежде, — не играл на балалайке, не стучал деревяшкой по горнице, а все лежал и кашлял. Мать говорила, что в тюрьме коршуны отбили у него нутро. Когда отец кашлял, в этом нутре ухало у него, как в бочке. Такого, нового папу Верочка боялась и редко к нему подходила.

Однажды летним днем — мать ушла на поденщину, а сестра Женя спала в холодке под черешнями — отец позвал к себе Верочку. Лежал он на топчане совсем плоский, даже нога—деревяшка — и та плоская. Лицо бледное, а потное. Жарко ему.

— Верочка, дочка моя старшая, любимая, поди сюда, позвал отец.

Она подошла. Что-то хрипело-сипело в отцовской груди.

— Возьми платок, вытри меня, милая, тяжело мне.

Верочка взяла со стола матери белый в крапушку головной платок и вытерла плоско вогнутый лоб, серые виски, небритые щеки отца. Пот катился по ним, как слезы

— Пришло мое время. Скоро умру.

Верочка не поняла, о чем он говорит, но заплакала.

— Ты обо мне не плачь. Умру — вам же легче, одним ртом меньше. Не плачь, погляди на меня. Незабудки, сказал отец, — чистые незабудки. Не забудь меня, дочка. Плохой я тебе был отец, а ты все ж таки помни. Будешь меня помнить?

— Буду.

— То-то же. Теперь иди. Устал я. Засну.

Верочка вышла. На дворе светило горячее солнце. Под черешнями пели пчелы. Женя спала, откинув в сторону марлевый положок. Желтая бабочка села на тыкву, сложила крылышки, расправила их, снова вспорхнула. Верочка сидела и помнила об отце, как будто бы зажимая что-то внутри себя. Солнце шло к вечеру, тени росли. Женька проснулась, заревела: «Хочу бараночки!» Бараночек в доме давно не бывало, а она все просила, нудная. Верочка принесла ей борща в глиняной миске. «Не хочу борща, дай бараночки!» — басила Женька. Верочка на нее рассердилась, отшлепала. Женька перешла с баса на визг, повизжала немного и затихла. Так всегда у нее: ревет-ревет, а нашлаепаешь — поверещит и затихнет. И в доме было тихо, отец спал.

Солнце покраснело и стало садиться. Было жутковато от красного солнца, от тишины. Матери уже пора вернуться, а ее нет. Вот наконец шаги по тропинке. «Мама!» — крикнула Верочка. «Мама, бараночки принесла?» — заерзала Женька. Обе вцепились в материнский подол. Мать молча их отстранила, вошла в дом. И почти сразу же раздался ее страшный крик.

Отца хоронили в яркий солнечный день, под крики ласточек. Мать на последние деньги купила целую корзину роз. Ими обложили, обсыпали гроб, только одно темное лицо с горько и косо

стиснутыми губами виднелось среди цветов. Священник в черной рясе с большим, нестерпимо блиставшим наперсным крестом махал кадилом, развевая пахучий, сизый дымок. Гроб засыпали красной землей, охлопали лопатами холмик, поставили сосновый, наскоро срубленный крест; на его перекладине черными буквами было написано: «Платон Бутов, ничей не раб» (так он сам завещал). Поп на эту надпись все косился, но слова не говорил. Мать пала на могилу, раскинула руки, прильнула к земле. Ее подняли, повели. Она не плакала, просто недоумевала. Твердыми темными пальцами растирала по щекам и по лбу прилипшую красную землю. «Мама, у тебя лицо грязное», — сказала ей Верочка. Она кивнула, но не утерлась.

За поминальным столом подавали огурцы, печеные яйца, сухую рыбу тарань. Стояли две бутылки с жемчужносиреневым самогоном. Гости косились на скудное угощение, перешептывались, осуждая вдову. Поминали розы. «В доме есть нечего, а она — розы». — «А кому они нужны, розы-то? Покойнику все равно...» Головы соседок покачивались неодобрительно. Верочка лупила яйцо. В горле саднило от соленых, горько непролитых слез. Тут заревела Женька. Верочка схватила ее поперек живота, отнесла в сарай и с наслаждением отшлепала. Каждый шлепок был как ответ соседкам: нет, покойнику не все равно! Нет, надо покупать розы!

7

Похоронили, погоревали и снова начали жить. Все шло вроде по-прежнему, только мать стала другая. Как будто, купив розы, она от чего-то избавилась, освободилась. Пропало ее строгое скопидомство, тревога о будущем, стала она беспечнее, словно унаследовала у Платона легкую поговорку: «Будет день — будет пища». Однажды привела в дом мальчишку — приемыша, звали Ужиком. Черный, верткий, волосы торчат, а в них — сено. Анна Савишна нашла его в сене, где он ночевал, беспризорный, и взяла себе в сыновья. Как зовут его по правде, он не говорил — Ужик да Ужик, так и остался Ужиком, хотя мать и выправила ему документ, по которому он был Бутов, Платон Платонович. Соседки осуждали Анну Савишну за безрассудство: самим есть нечего, а она парня взяла. Да еще беспризорный, на вид ворюга ворюгой, черное слово у него с уст не сходит. И правда, ругаться Ужик был великий мастер, с такими завитками выделявал, что мужики за живот хватались. Однако Анна Савишна его от этой привычки живо отвадила. Как — то раз сидели они за столом, мать разливала борщ, Ужик по привычке раскатился было затейливым матом, но кончить не успел: мать размахнулась да такхватила его горячим половником по губам, что они у него пузырями вздулись. С тех пор, как только Ужику приходило на ум выругаться, сразу же у него начинали чесаться губы, и он молчал.

По возрасту он был где-то между Женей и Верочкой (сколько ему лет, в точности никто не знал), но дружил больше со старшей сестрой. Ей он рассказал под большим секретом (землю заставил есть!) страшную свою тайну. Ужик был иностранный принц, рожденный от лиц королевской крови. Отец у него носил всю жизнь железную маску и умер в тюрьме. А мать его звали Эмилией, она тоже была королевская дочь, с золотой короной на черных распущенных волосах. У нее были враги, из них главный — кардинал Ришелье. Чтобы сына не истребили враги, она завернула его в шелковые пеленки, положила в корзину и пустила вплавь по реке, и так он попал в Россию. А говорить об этом нельзя никому, потому что большевики против царей и, если узнают, сразу его убьют. Верочка тайну хранила свято. Ужик, хоть и принц, был в жизни обыкновенный мальчишка, учился плохо, плавал отчаянно и, когда время пришло, поступил в комсомол.

Верочкины школьные годы были бурные, двадцатые. Неслыханным половодьем разливалась новая жизнь, размывала устои. В воздухе носились слова: «Долой!» и «Даешь!» — оба на "д". Долой церковь, долой попов и монахов, долой мещанство, долой собственность! Даешь новое! «Долой» и «даешь» захлестывали, конечно, и школу. Возникали, шумели и отмирали новые

методы обучения: комплексный, Дальтон— план, бригадно-лабораторный. Вводилось, ограничивалось и снова вводилось самоуправление. Выкидывались парты, черные доски. Во дворах горели костры из пособий. Классы становились лабораториями, учителя — консультантами. Ученикам раздавали книги, по одной на бригаду в пять-шесть человек, и велели работать самостоятельно, коллективно. А как работать — не объясняли, им и самим это было неясно. Новые методы изобретались где-то в столицах, а сюда приходили в виде невнятных, противоречащих друг другу инструкций.

Иные учителя, по-новому «шкрабы», вовсе сбивались с толку; захлестнутые волной перемен, они плыли по течению, робко недоумевая. Однако были среди них и сильные, одаренные, которые, невзирая на методический хаос, продолжали учить и чему-то выучивали. Вокруг таких учителей группировались самые способные, желающие учиться, и Верочка — среди них. У нее было счастливое свойство приспосабливаться ко всему новому, сливаться с обстоятельствами, плыть в них как рыба в воде и туда, куда нужно. Глядя, как она усердно и весело учится, можно было подумать, что есть здоровое зерно и в Дальтон-плане, и в бригадно-лабораторном. Память у нее была отличная, она любила русский язык, литературу, обществоведение, питала здоровое отвращение к математике и ухитрилась выйти из школы с неплохим в общем-то образованием, хотя и дырявым. Дырки получались там, где в переходах от метода к методу что-нибудь просто забывали пройти. Так вышло у Верочки с запятыми. Она ставила их не по правилам, а по вдохновению и, на всякий случай, почаще, почти после каждого слова. Так и осталось у нее навсегда. Верочка всю жизнь любила и умела писать письма; эти веселые, милые письма казались от лишних запятых еще веселее, милее. Запятые были в них как множество ликующих подтверждений.

В общем, Верочка прошла благополучно все школьные бури, а вот Ужик не выдержал. Он запоем митинговал на собраниях, как тогда говорили, «бузотерствовал», свергал учителей, требовал смены заведующего, свистел на уроках и на конференциях, когда ими заменили уроки, а учиться у него времени не было. Прежний заведующий, хилый интеллигент, боялся Ужика и трусливо переводил его из класса в класс. Довел бы и до окончания школы, но Ужик, на свою голову, добился-таки его увольнения. Новый заведующий — мужик крепкий, соленый — быстро вывел Ужика на чистую воду, обнаружил, что тот не усвоил даже таблицы умножения, и с громом выгнал его из школы. Гордый Ужик (все-таки принц!) в другую школу поступать не стал, а пошел на завод. Там его быстро пообломали. Куражился он теперь только дома, над сестрами: он, мол, рабочий класс, а они — кисейные барышни. Ногти на смуглых руках у него обвелись черной, рабочей каймой, и ел он борщ за столом, как хозяин.

Мать Анна Савишна новую жизнь приняла с робкой готовностью. В прошлом у нее хорошего не было, труд да бедность, жалеть было не о чем. Она и за иконы-то не очень держалась, когда Верочка с Ужиком, комсомольцы, вынесли их за ворота и сожгли на костре. Сначала ее смущал пустой угол, где прежде висели иконы; чудился ей там покойный отец Савва с клюкой и проклятием, но ничего, обошлось, привыкла. Стала она посмелей, поразговорчивей, даже снимала платок с головы и, уронив его на плечи, приглаживала ладонью все еще густые, мало поседевшие волосы. Полюбила читать. В свободную минуту брала книжку и, зацепив ниткой за ухо старые очки в железной оправе, усердно водила глазами по строчкам. Жизнь еще была трудна, но становилась легче. Дочери, как барышни, учились в гимназии (по— нынешнему — в единой трудовой), старшая — хорошо, младшая — хуже, но все же обе получают образование, на ноги станут, не век же им, как матери, в земле копаться. Ужик недоучился, но и он был на твердом пути, как-никак зарабатывал и всю получку отдавал матери.

Был в ее жизни смешной случай: взял да и посватался к ней бывший мельник, нынче уже не мельник, а завкооперативом. Заслал соседку: так, мол, и так, предлагает Иван Севастьянович руку и сердце. Мужик еще нестарый, вдовый, дети взрослые, дом — полная чаша. Анна

Савишна и посмеялась, и поплакала, и отказала. Жила по-прежнему своей семьей, с двумя дочками и сыном Ужиком. Время-то идет — не успеешь оглянуться, дети большие. Вот уже и Верочка кончила школу. Поступит на службу — все-таки полегче будет...

8

Фигура человека на берегу приближалась, было уже отчетливо видно, что идет он сюда, не отсюда, что одет не в черное, как ей сперва показалось, а в военно— защитное. Человек в военной форме, но босой, шел по песку и нес в руках сапоги. Верочка опустила красный купальник, умерила шаг, поправила мокрые волосы. Человек приближался. Вот уже песок заскрипел совсем рядом. Среднего роста командир, в расстегнутой гимнастерке, с белыми босыми ногами (сапоги он держал за ушки и вольно их раскачивал), подошел и прямо взглянул на нее. Они были одного роста, и на одном уровне с ее лицом было его лицо — удлиненное, красивое, с дугообразными соболиными бровями. И на одном уровне с ее глазами — взглядывые, жестокие, горчичного цвета глаза. «Добрый день», — сказал командир. Верочка, не смутившись, ответила: «Добрый день». Она не была робка.

— Вы ли это здесь пели?

— Я. А что, вам понравилось?

— Очень. Но вы перестали петь, и жаль, что перестали. Мне хотелось бы знать, что там такое случилось с чайкой?

— Она, трепеща, умерла в камышах, — краснея плечами и грудью, ответила Верочка. Нет, она не была робка, а краснела оттого, что кровь гуляла в ней волнами. У нее было премилое воркующее "р" с маленьким как бы хвостиком, легким оттенком "л" на конце. Стояла она на песке прямо и статно, в розовом ситцевом платье с рукавами-фонариками, и кровь медленно покидала ее плечи, шею и грудь.

— Как вы сказали? Я не расслышал.

— Она, трепеща, умерла в камышах, — чуть смутившись,

повторила Верочка и опять залилась краской.

— Прекрасно. «Трепеща». Обычная судьба каждой чайки.

— Но не каждой девушки.

Высокая, крепкая, сильная, с мягко покатыми плечами, из которых белым стволом гордо прямится длинная шея. Широкие бедра, плоский живот. Толстоватые, но стройные ноги. Он окинул ее взглядом знатока и остался доволен. Да, такая, пожалуй, не умрет трепеща. Ее раскиданные по плечам волосы еще не просохли; он подошел ближе и поднял двумя пальцами с ее плеча пестро-белокурую прядь.

— Купались? — Да. А что?

— Жаль, меня не было при этом. Я увидел бы, как Афродита выходит из морской пены.

Афродита... Никто еще так с Верочкой не говорил. Товарищи— комсомольцы говорили: «Дай пять», «На большой палец с присыпкой»... Верочке про Афродиту понравилось. Она усмехнулась и ответила чуть-чуть вызывающе:

— Да, вам не повезло.

— Может быть, еще повезет?

— Может быть.

— В котором часу вы купаетесь?

— В семь утра.

— Отлично. Завтра, ровно в семь, здесь, на пляже. Я вас приветствую.

Он поднял с песка сапоги, сделал одним из них какой-то неуловимо-победный жест (приветствовал сапогом?), повернулся и пошел, утопая в песке чуть искривленными, уверенными ногами.

Верочка глядела ему вслед со сложным чувством полувражды, полуподчиненности. Смущало ее и то, что, как ни толкуй, она все же назначила наутро свидание этому незнакомому человеку. Попробовала опять затянуть про чайку, но песня не сладилась. Настоящие чайки, носясь над морем, орали фальшивыми голосами, как будто дразня ее: «Ну, что, взяла?»...

Эту ночь Верочка спала плохо. Тикали ходики, цыкал сверчок, повторяя и повторяя свой скрипящий маленький звук. Мать, как всегда неслышно, спала рядом. Верочку гнели мысли, что все спят, и он, сегодняшний незнакомец, тоже спит где— то в пределах города — спит и про нее не думает, а она... Несмотря на распахнутые окна, в хате было душно. Бродил вдалеке гром, мигали зарницы. Внутренним зрением изнутри закрытых век она снова видела горчичные глаза, соболиные брови, сапоги, ухарски взятые за ушки, удаляющуюся по песку уверенную походку (и не обернулся...). Она вздыхала, переворачивала подушку, ища прохлады. Плечи ее были прохладны, шелковисты — она поцеловала себя в плечо и рассмеялась тихонько. Словом, Верочка была влюблена. Наутро, ровно в семь часов, она стояла на пляже в том самом месте, где вчера рассталась с военным. Его не было. — Ну и что ж, ну и что ж, — сказала она себе, силясь не огорчаться. — Плакать не будем, проживем и так.

Быстро разделась (ветер свежий, утренний), натянула красный купальник, который предательски треснул под мышкой, и пошла к воде. Крупный песок, как живой, шевелился меж пальцами ног. Она раскинула руки, как бы обнимая море, и кинулась грудью вниз в голубую воду, видя ее голубой, хотя у берега она была буро-зеленой. Поплыла вперед, широко, мужскими саженками выкидывая руки. При каждом броске тело, как бы следуя за руками, полувывырывало из воды, шло в общем косо, как косо идет приподнятая скоростью моторная шлюпка. Удивительная вещь вода. В воде ей как-то удалось забыть и вчерашнюю встречу, и ночь, и назначенное свидание. Выходя, она спустила с плеч купальник и оглядела дыру под мышкой. Так и есть — не по шву, а по живому месту. В это время из-за камня появился вчерашний военный:

— Здравствуйте, Афродита.

Верочка немелодично взвизгнула и присела, закрывая плечи скрещенными руками.

— Не стыдитесь, Афродита, ваше тело слишком прекрасно, чтобы его закрывать.

Колеблясь, сама себя не понимая, она вышла на песок. Он обнял ее — мокрую, смущенную, прижал к себе и сказал одно слово:

— Моя.

Кто-то так уже говорил в какой-то книге. Впрочем, налет книжности в его речи ей не мешал — такой уж человек, из высшего мира, ни на кого не похожий...

Его звали Ларичев Александр Иванович. Пехотный командир, военная косточка (так он сам себя отрекомендовал). Следы от мокрого объятия темнели на гимнастерке. Малиновые петлицы, две шпалы. Верочка знаков различия не понимала:

— Это как по-старому?

— Подполковник.

— Ого!

...Жил всегда в разъездах. Куда только его не бросало: Киев, Мурманск, Дальний Восток. Сейчас Могилев. Здесь — лишь в командировке, на несколько дней. Послезавтра — обратно. Ему тридцать пять лет. Много? Не так уж много... Верочке он казался невероятно, недостижимо взрослым, не старым, а именно взрослым. Великим. Не верилось, что его, Великого, рука обнимает ее за плечи. Она взяла эту руку со своего плеча и поцеловала. Он вздрогнул, вырвал руку, сказал строго: «Чтобы этого никогда не было!» И поцеловал ее в губы. Она провалилась, так и ухнула, и сердце почти перестало биться. Значит, это любовь?

— Все будет хорошо, — сказал он, — через два месяца я за тобой приеду. Кстати, как тебя зовут?

— Вера.

— Не странно ль, что зовут вас Вера? Неужто можно верить вам?

Тоже из какой-то книги, но красиво...

9

Два месяца прошли как в бреду. Матери Верочка ничего не говорила, та и не расспрашивала, тревожилась молча. Видно сразу: не в себе девка. Ночью не спит, ворочается, только сенник шуршит. Смеется сама с собой, а то вдруг словно плачет. Поет про чайку — «трепеща, умерла», — и слезы в голосе. Есть перестала. Борщ еле-еле ложкой потрогает и из— за стола. А он со сметаной. Хотела на службу поступать — теперь замолчала. Предложили ей по знакомству место библиотекарки в школе — молчит, улыбается: «Еще погожу». Анна Савишна насчет работы Верочке старалась не надоедать, чтобы не вышло, что она, мать, попрекает дочку своим хлебом. Зато Ужик очень даже попрекал: до каких пор на вас, бездельниц, работать? Молчит, улыбается. Женьке — той было все равно; она почти все дни проводила у зеркала, любуясь и в самом деле незаурядной своей красотой, расчесывая черные тяжелые косы, закидывая руки за голову, загадочно щуря глаза. «Фуфлыга!» — говорил Ужик.

А Верочке казалось — жизнь остановилась, замерла, из кино сделали фото, все кругом стоят, навеки окаменев, и ничего больше не будет, и вечно будет Женька сидеть у зеркала, мать — глядеть тревожно, а Ужик — негодовать.

Где-то в это же смутное время, когда все было странно и как бы подвешено, посватался к ней жених. Был он грузин, носатый и полный, работал в порту по административной части и даже имел возможность доставать заграничные вещи. Присватался к Верочке через соседку

Дуняшу, у которой покупал баклажаны. Очень ему понравилась русская девушка — красивый рост и волосы белые. Дуняша обещала похлопотать, пришла к Анне Савишне: «Всем хорош человек, смотрите, как бы вам своего счастья не упустить». «Может, и в самом деле пора девке замуж?» — подумала мать. Жених был допущен в дом, принят, угощен, вел себя вежливо, но по поводу каждого блюда пускался в подробные беседы, говорил, что в Грузии не так делается, начинал объяснять, как именно, и переходил на грузинский язык, сверкая глазами, как парой ножей; только и слышалось: «барджани-хачапури» и еще невесть что; русское слово было одно — «барашка», и произносил он его с разящим жестом, как бы этого барашка убивая... Анна Савишна немножко перепугалась. Кс.да гость ушел, спросила дочку: «Ну, как? По мне, не годится». — «Для чего?» — не поняла Верочка. Анна Савишна ничего выяснять не стала, просто передала через соседку отказ. Только на третий день Верочка узнала, зачем приходил грузин (от Ужика, тот хитер — все пронюхал!), и хохотала часа два, а потом принялась плакать. Женька надулась: почему ей не сказали? Может, она взяла бы его себе. Женьке было пятнадцать лет, ее дружно подняли на смех, обозвали соплячкой. Посмеялись и забыли. Верочка продолжала жить и грезить, срывая с календаря листок за листком. Приближался назначенный срок, а о нем ни слуху ни духу. Приблизился и прошел, и все ничего. Верочка примолкла, перестала смеяться и плакать, даже на море не ходила — маялась.

Однажды в жаркий день лежала она в тени под черешней. Серое от зноя небо поднималось, плыло кверху над горячей землей. У ее лица сновали букашки, копошилась садово— огородная жизнь, всем было хорошо, ей одной — плохо. Она нетерпеливо шевелила босой ногой, сжимая пальцы и разжимая. Когда же? Сегодня, завтра? Может быть, совсем никогда? Жди тут и лежи, когда сердце рвется... И вот послышался на тропинке твердый печатный шаг, так печатать шаги в пыль мог только один человек: он. Верочка вскинулась на колени, отряхивая с волос и платья налипший сор. Тут ее взяли, поставили на землю, приподняли с земли (ой, я тяжелая!) и поцеловали. Он был здесь, держал в руках, глядел ей в лицо грозными горчичными глазами. Она обняла его широкую волосатую шею и застонала от счастья... Это было чудо. Тут чудо заговорило удивительно будничным голосом:

— Я за тобой. Все дела устроил, поженимся, поедем.

Только потом она узнала, что «все дела» — это был развод с женой. У него, оказывается, была жена. Жена и сын. Развелся, оставил жене квартиру, все имущество, получил новое назначение — и сюда...

— Будем жить в глуши. Тебя это не пугает?

— Меня? — спросила Верочка, и так спросила, что оставалось только взять ее на руки и целовать до остановки дыхания. При поцелуе дыхание прерывалось. Кроме того, мешали носы.

...— Мама, это мой жених.

Анна Савишна несказанно удивилась: господи помилуй, жених — какой-то военный, да почти пожилой... Откуда? Александр Иванович поцеловал руку будущей теще (она все прятала ее под фартук), но вообще был скован, неразговорчив. Ужику он не понравился: корчит буржуя. Женька, вся в себе, как сомнамбула, на сестрина жениха внимания не обратила.

10

Свадьбу не праздновали: Ларичев этих мещанских обычаев не признавал, от всего сердца был человек новый. Попросту зарегистрировали брак в районном загсе, где рядом стояли три стола: регистрации браков, рождений и смертей. Стол регистрации браков был отмечен

бронзовым амуром, полоскавшим ноги в какой-то посудине — не то чаше, не то вазе, но употреблявшейся как пепельница. Перед ними в очереди к брачному столу стояла какая-то женщина, пришедшая развестись: она не могла вспомнить свою девичью фамилию, плакала и говорила: «Доел он меня, доел». Кто-то рядом регистрировал новорожденного, кто-то — умершего, обстановка была вполне деловая, Александр Иванович хмурился и притопывал ногой в зеркально начищенном сапоге. Насилу-то дождались своей очереди; Верочка с волнением читала свидетельство: зарегистрирован брак Ларичева, Александра Ивановича, с Бутовой, Верой Платоновной; фамилия в браке: его — Ларичев, ее — Ларичева... Неужели наяву, не во сне, я — Ларичева, его жена? Дома посидели за столом, скромно пригубили ягодной наливки. Анна Савишна скорбно смотрела на дочь, недоумевая: как же это все получилось? Зять ей не нравился, особенно брови. Ужик враждебно дичился. Женя была равнодушна — ее все происходящее как бы вообще не касалось, она создала себе из зеркала и воздуха какую-то незримую зону, в которую происшествия не проникали. За столом сидели недолго, все были принужденны, несловоохотливы. У Верочки ныло сердце: она боялась...

Часов в девять вечера мать сказала, робея: «А не пора ли спать?» Александр Иванович встал из-за стола, щелкнул каблуками, благодаря хозяйку. Она, стесняясь, в чем-то прося прощения («Если не то, если не так...»), проводила молодых в горницу, где уже была приготовлена под розовым атласным одеялом двуспальная кровать из двух рядом поставленных топчанов (мать с Ужиком и Женькой перебрались временно в пристройку-холодушку). Все это было лишнее и стыдно, Верочка чуть не плакала. Особенно смущала ее кровать (не кровать, а какое-то ложе наслаждений!). Мать ее перекрестила (Верочку даже повело от такой старорежимности), поцеловала, опять сказала: «Простите, если что не так» — и вышла. Верочка стояла, малиново-красная от всей этой несурязицы. Все это не имело никакого отношения к ее любви и, наверно, ей и нужно — то не было... Может быть, пока не поздно... Удрал же Подколесин через окно?

Александр Иванович обнял Верочку. Она вся отвердела, насторожилась.

— Боишься меня? Она молчала.

— Знаю, боишься. И зря. Хочешь, я тебя сегодня не трону?

Верочка молчала. Сердце у нее билось-билось.

— Не молчи. Скажи: хочешь?

— Хочу.

— Договорились.

Они стояли рядом, не касаясь друг друга, какие-то параллельные.

— Однако в ногах правды нет. Что ж мы, так до утра и простоим? Давай сядем.

В горнице ничего не было, кроме пышной кровати и одного стула. Они сели на кровать недалеко друг от друга, положив руки каждый к себе на колени. «Египетские Рамзесы», — подумала Верочка. Ей стало смешно.

— Все еще боишься?

— Теперь уж не так.

— Тогда иди сюда, поближе. Сядь ко мне на колени. Не бойся

— сказано, не трону. Эх ты, заяц.

Верочка села к нему на колени. Сначала немножко казенно, пряменько, а потом прислонилась головой к его плечу. Пахло страшновато — мужской одеждой, табаком, одеколоном от гладко выбритой щеки...

— Удобно тебе? — спросил он.

— Мне хорошо. Мне очень хорошо.

— Ну и ладно. Спи, моя дорогая.

Странно, она и в самом деле заснула. От усталости, испуга, от полноты чувств. Проснулась среди ночи. Александр Иванович не спал. Он сидел, бережно ее охраняя, и его строгое красивое лицо обращено было к окну, откуда светили звезды. Верочка всполошилась:

— Ой, я заснула.

— И очень хорошо, что заснула.

— Вы, наверно, устали меня держать, я такая тяжелая.

— Нет, я не устал тебя держать.

— Вы не спали?

— Нет, я не спал. Я думал. О чем?

— Я думал: чем я заслужил такое счастье? И чем я смогу тебе за него заплатить? Жизни не хватит.

Верочка заплакала (какие прекрасные слова!) и, сморкаясь, спросила:

— И тебе в самом деле не тяжело?

— Нет, не тяжело. Всю жизнь я буду держать тебя на руках, любимая. Не беспокойся, спи...

Встали они рано. Видно, все-таки Верочка была тяжеловата, и у Александра Ивановича затекли ноги. Утро сияло первым, еще прохладным блеском. В доме было тихо. Взявшись за руки, они вышли на крыльцо. Пахло укропом, колокольчики «крученого паныча» еще не раскрылись. Высоко-высоко в небе черными мухами носились ласточки — к хорошей погоде. На крыше соседнего дома, важно укрепившись на своем колесе, хозяин — аист ел лягушку, клюв его был ярко-красным, лягушка — зеленой, как на детской картинке. Рано встав, как и они, аист уже приступил к своим дневным заботам. Рядом топили печь, и голубой дым, не тревожимый ветром, легким столбиком восходил кверху. Александр Иванович обнял Верочку и сказал:

— Ты — вся моя жизнь.

...Через несколько дней они уезжали. Вокзал со своим закопченным, деловым, горьким неуютом; почти непрозрачный стеклянный свод; паровоз, ожидающий, вздыхающий, пытящий... Мать — смуглая, большеглазая, все еще красивая тихонько крестила Верочку из-под платка. Ужик стоял в стороне и был недоступен, Женька — рядом, но вся в облаках. Что-то легло уже между Верочкой и родными, виделись они будто во сне. Реальным был Александр

Ивянович — Шура, Шуня, Шунечка, — так она, все еще робея, звала его наедине. Муж, Шунечка, стоял рядом, не держа ее ни под руку, ни за руку, — просто держа ее собой, как хозяин держит собаку, одним своим присутствием...

Последний звонок. Возглас Анны Савишны: «С богом!» Ларичевы взошли на площадку. В стуке колес начал обозначаться ритм. Верочка замахала рукой. Сквозь опалово— слезную муть она видела уменьшавшуюся, пропадавшую вдаль фигуру матери. Паровоз раздирающе вскрикнул и начал набирать ход.

11

Тело Александра Ивановича Ларичева, прибранное, готовое к погребению, затутованное в узковатый парадный мундир, лежало в гробу, обставленное цветами. Цветов было множество. Сквозь слезный туман они выделялись не легкими, перисто— расчлененными, а сплошными, тяжело вылепленными; толпясь и сутулясь, нависали они над гробом. Их запах тоже был тяжел, душноватый, слащавый, с легкой примесью нафталина, а может быть, еще чего-то, что страшно было даже в мыслях назвать словами.

Вера Платоновна, оглохшая, оглупевшая от слез, сидела возле гроба. Руки, всегда такие проворные, мертво свесились вниз. Они словно бы ей не принадлежали. Горе ощущалось не в груди, не в сердце, а скорее в ушах. Тупыми затычками в обоих ушах. Мир был беззвучен, может быть, это весь мир оглох, не только она. Стул, на котором она сидела, казался одновременно слишком маленьким и слишком большим — во всяком случае, для сидения не приспособленным.

Чуть шаркая туфлями, вошла Анна Савишна.

— Еще телеграмма.

Пальцы не гнулись, как на морозе. Телеграмма шуршала, дыбилась. «Горюем вами смерти незабвенного Александра Ивановича тчк сожалению делами проезд невозможен Женя Семен», — прочла Вера.

— От Женечки? — спросила мать. — Ну как, едут?

— Да, мама, да.

Надо было сказать «нет, мама, нет», но у нее спутались «да» и «нет». Анна Савишна взяла телеграмму, порылась в кармане фартука, нашла очки, прочла, вздохнула и положила на голову дочери легкую сухую руку. Вера замотала головой — даже эта легкая рука была тяжелой.

— Ты бы легла, дочка. Я и постель разобрала. Поди приляг.

— Нет, мама, еще посижу.

— Ну, как знаешь, господь с тобой.

Анна Савишна постояла у гроба, спокойно и печально глядя на мертвое лицо, поправила цветы (один, тяжелый, все падал), перекрестилась и вышла.

Вера опять осталась наедине с мужем. Если бы понять, что произошло? Внутри у нее все что-то долбило, спрашивало, перебивало само себя: да, да, да, а потом: нет, нет, нет. Спор шел между фактом, наличием смерти, и ее невозможностью. Умер? Что значит: «умер»? Бессмыслица. И

все же так: умер. Не может быть. Матери хорошо, она верующая. Вера. «Не странно ль, что зовут вас Вера? Неужто можно верить вам?» Реальность пляжа, воды, чаек, счастья. И тут же, рядом, — реальность смерти. В отчаянии Вера попробовала перекреститься, но рука забыла, как это делается.

Как полено раскалывается под колуном. Как, треща, отделяются друг от друга волокна. Так раскололась вся жизнь — сверху донизу, одним ударом. Раскололась, распалась. Двадцать семь лет с ним, при нем, для него. Теперь ни для кого, одна. Одна, одна.

«Шунечка», — сказала она шепотом и сама испугалась. Мрачная бровь над глубоко закрытым глазом покойника словно бы шевельнулась... Когда-то певучие, ровные, соболиные, эти брови теперь были седые, щетинистые, грозные...

...Вскрытие показало: обширный инфаркт миокарда, эмфизема легких, цирроз печени... Было от чего умереть. Врач:

— Удивительно, что он до сих пор жил. Вы понимаете, он был обречен.

— Да, да, — сказала она, ничего не понимая.

...Когда Шунечку увозили, он ей поцеловал руку. Носилки — на полу. Он лежал на них, по пояс укрытый одеялом. Лицо спокойное, только в углах губ гримаса боли. Уж онато его знала. Снизу, с носилок, он подал ей глазами условный знак: помиримся. Она наклонилась, взяла его за руку, пальцы были холодны и слабы. С усилием, хмурясь, он потянул Верину руку к своему лицу, поцеловал. Больше живым она его не видела...

А сейчас, в текучем свете свечей, он до ужаса казался живым, именно живым и ею, своей женой, недовольным. Руки, сложенные под грудью, отливали розовым. И, попрежнему тикая, шли часы у него на запястье. Часы — старые, еще довоенные, подарок наркома, с надписью: «За безупречную службу». Шунечка никогда с ними не расставался, даже спал с часами. И сейчас они у него на руке — тикают, трудятся, остановятся, видно, уже в земле. Тиканье часов усиливало иллюзию жизни. Вере казалось, что вот-вот полусогнутый указательный палец приподнимется и постучит по циферблату знакомым предостерегающим жестом...

...Она уходила из дому — Шунечка этого не любил. Он стоял у окна, приподняв левую руку с часами, постукивал по циферблату полусогнутым указательным пальцем правой: помни о времени, не задерживайся... А она, глупая, уходила от него, она, глупая, облегченно вздыхала, вырвавшись на вольный воздух, шагая в ногу маршам, рвущимся из громкоговорителей... Глупая! Что бы она ни отдала сейчас за то, чтобы Шунечка стукнул пальцем по циферблату...

Бедный, он, верно, был уже очень болен весь этот год. Гордый, скрывал, не хотел признаться. Верно, от болезни у него так менялся характер, становился неровен — мягок с посторонними, груб с нею, с женой.

С месяц тому назад ночью он позвал:

— Верочка, пойди сюда.

Она спала крепко, сладко, наработавшись днем на огороде, снилось ей детство, маки, бабочки. Она слышала, что он зовет, но не могла проснуться.

— Вера, я тебя зову, ты что же — не слышишь?

— Шунечка, иду-иду.

Торопясь, она надевала халат, путаясь в пуговицах, тапки куда-то запропастились, босая, вошла к нему (уже давно они спали в разных комнатах). Он лежал и говорил сердито:

— Зовешь-зовешь, не дозовешься. Или все вы там оглохли? Или умерли?

«Все вы» означало: она с матерью.

— Прости, Шунечка, заспалась немного. Все в порядке: ты звал, я пришла.

И улыбка — без ответа. Александр Иванович сказал сухо:

— Не нахожу таблетки. Валидол. Лежали тут, и нету.

— Плохо тебе? — встревожилась Вера.

— Ничего не плохо. Просто лекарство всегда должно быть на месте. Полон дом баб, а порядку не добьешься. Ты, что ли, убрала?

— Бог с тобой, Шунечка, я их и не видела.

— А куда же они делись? Здесь лежали, на ночном столике, и нет.

Вера засуетилась, ища таблетки. Александр Иванович торопил ее, нетерпеливо водя глазами (в каждом — лампа с розовым абажуром):

— Ну, что же, долго я буду ждать? — Сейчас, сейчас.

Таблеток не было. Голый пол охлаждал босые ноги. А он понукал:

— Скорее. Сто раз просил: не трогать моих вещей. Подлая бабья страсть к уборке... Ничего не понимаете — не суйтесь.

Нигде ничего...

— К себе, что ли, ты их унесла? Поди посмотри.

Она пошла к себе, стала искать там, хотя таблеток там быть не могло никак.

— Ну, что же? — кричал Шунечка страшным голосом.

— Нету. Давай оденусь, схожу в аптеку.

Александр Иванович выругался — грубо, страшно. Вера обмерла. Никогда еще такого не было... Никогда за всю жизнь он ее не ругал. Удар был так силен, что она упала, рухнула на пол. Обо что-то стукнулась головой, услышала стук.

Спустя некоторое время очнулась. Сколько прошло: десять минут? Час? Стыли ноги, пол был холоден и гладок, она ощущала его крутизной бедра. Перед глазами постепенно утверждался какой-то предмет, оказавшийся ножкой кресла. Комната в необычном ракурсе — снизу — была странна. Лежала, соображая: да, я упала. В обморок, когда он меня обругал. Вздрогнула, вспомнив страшное это слово. Никогда, во всю жизнь... «Всю жизнь, — обещал он, — всю жизнь я буду держать тебя на руках». И вот... Она поднялась с полу, озябшая, оскорбленная. В

соседней комнате было темно, тихо. Не может быть, чтобы он не слышал, как я упала. Нет, ему все равно. Я тут погибаю, а ему все равно, и свет потушил. Легла в постель. Холодные, крупные колени были как глыбы льда...

Назавтра он рано ушел по своим делам. А таблетки она нашла у него под подушкой...

Если бы знать тогда: месяц, меньше месяца оставалось ему жить! Ведь он уже тогда умирал, — знал и не хотел сознаться. Ведь это не он ругался — это смерть его в нем ругалась. А она, как идиотка, — бух в обморок. Подумаешь, выругался человек. Если бы знать...

И пошли, перебивая друг друга, всевозможные «бы» бесконечные, бесполезные «бы», терзающие душу после смерти близкого человека.

...Я бы служила ему безропотно, терпеливо, босиком по холодному полу, без сна, без отдыха. Он ругал бы меня — я бы ему целовала руку. Я не уходила бы из дому, не оборачивалась бы с досадой на то, как он стоит у окна, занеся полусогнутый палец над циферблатом...

...Время шло, и часы тикали, и нельзя было понять, который час. Вероятно, уже глубокая ночь, а может быть, уже и другой день — день похорон, — только солнце не встает почему-то. Запах цветов становился невыносимым. Наверно, от этого запаха кружилась у нее голова. Вот и стул под ней закачался, взмыл ногами вперед и поплыл по воздуху. «Летаю, как баба— яга в ступе», — подумалось ей неуместной шуткой. Правая бровь Александра Ивановича как-то очень уж ехидно изогнулась, давая понять, что она, Вера, преступила, преступна: муж умер, а она на стуле летает. «Ну и что же, — сказала она, — летаю себе и летаю». Несколько мгновений она чувствовала себя неестественно счастливой. Ощущение было колючим, пузырьчатым, как холодный нарзан в жаркий день. Но тут отворилась дверь, и, шаркая туфлями, вошло горе. Стул сразу прекратил полет, опустился на пол и встал твердо на все четыре ножки. — Кто там? — спросила Вера.

— Еще телеграмма, — ответило горе голосом матери.

— «Буду завтра самолетом, Маша», — прочла Вера вслух.

— Слава богу, Машенька — родная душа. А ты поди приляг, поспи хоть часика два.

Вере уже теперь самой хотелось лечь, но, стыщаясь своего недавнего счастья (откуда оно взялось?), она сказала:

— Нет, посижу.

Мать поцеловала ее в лоб и вышла. Все было очень трезво и ясно: шла ночь, в тишине отчетливо проступали ночные звуки потрескивал пол, коробились, отставая, обои. Где-то залаяли собаки, — наверно, шел ночной прохожий, разыскивая в темноте свой дом. Впрочем, темноты на улице не было: светила голубая луна, бросая сквозь занавески неуверенный свет. Сна не было, счастья не было тоже, но и горе примолкло, прислушиваясь.

12

Маша Смолина была Верина самая близкая подруга. Из тех, с кем делишь и счастье, и горе, и стол, и кров. Познакомились они, лежа в больнице. Это было в первый год Вериною замужества. Жили тогда Ларичевы в барачном поселке, в зауральской" степи, где базировалась часть, в которой служил Александр Иванович.

Прожили они вместе уже полгода, но для нее все еще было внове: и быт, и необмятость семейной жизни, и чувство подчиненности, и любовь — главным образом любовь, которая все разрасталась и заполняла жизнь до краев, через край... И вот среди всех этих нагромождений еще одно: Вера почувствовала себя не совсем здоровой. В чем дело — ей сразу же стало ясно; сказывалось ее нежеманное, полудеревенское воспитание, где вещи назывались своими именами, и дети уже с малых лет знали что к чему. Новость ее не обрадовала, скорее смутила: и так уже слишком тесно было у нее в душе. Но вскоре она к ней привыкла и даже начала прикидывать: здесь станет кровать, купать буду за занавеской, воду греть — в большом тазу, окно придется замазать... Ребенок в воображении был мальчиком — беленьким, с горчичными глазами. В общем, она его приняла, ждала даже с некоторым волнением. Оставалось сказать мужу, это почему-то ее останавливало, как он отнесется — было неясно; обожаемый Шунечка был для нее во многом еще загадкой. Боялась ему сказать, как, например, в школе боялась бы признаться учителю в разбитом (пусть по нечаянности!) стекле. Наконец решилась. Однажды вечером, теребя кромку скатерти...

— Шунечка, я давно хотела тебе сказать...

И замолчала. Продолжать не надо было: он все понял. Он смотрел на нее холодным, желтым взглядом красивых глаз. Чужой, посторонний, красивый человек.

— Я тебя слушаю, — сказал человек.

— Я... Одним словом, у меня будет... И замолчала.

— Все ясно, — сказал Александр Иванович и усмехнулся. — Но у тебя не будет.

— Как не будет?

Она удивилась, но не очень. Шунечкино всемогущество в ее представлении было безгранично. Он мог запросто отменить, скажем, закон природы.

— Очень просто. Не будет. Мы не можем себе этого позволить. Я — солдат. Жизнь кочевая, сегодня здесь, завтра там. А о международном положении ты забыла? В любую минуту может вспыхнуть война. Тут не до пеленок...

Про войну, возможную, Верочка знала, но как-то не очень в нее верила, как большинство людей, зная, не верит в свою неизбежную смерть.

— А как же другие? — позволила она себе вопрос.

— «Другие» мне не указ. Если «другие» глупы, это не значит, что я должен быть глуп.

Вера молчала.

— Один раз я уже позволил себе такую глупость... Довольно.

«Глупость» эта была — сын, живший с матерью где-то в неопределенности; на сына Ларичев выплачивал алименты.

— Ты как будто не согласна со мной? А ну-ка смотри сюда.

Он взял Веру за подбородок. По щеке у нее катилась

слеза — одна-единственная, но такая тяжелая, что, казалось, должна была стукнуть, упав на

пол.

— Экая глупышка, — сказал он, насильно приподняв ее клонящееся лицо. — Разве тебе меня мало? Тебе нужен кто-нибудь, кроме меня?

— Нет, не нужен.

И — любовь. Какая прекрасная была ночь. Незабываемая...

А назавтра в казенной машине, тряско прыгавшей по мерзлым колдобинам степной дороги, Александр Иванович отвез Верочку в районный центр. Снег несся и порхал, поминутно меняя направление полета; шофер-красноармеец с розовым усердным затылком и оттопыренными ушами молча крутил баранку, Александр Иванович тоже молчал. Лицо у него было холодное, почти злое, как будто и не он обнимал ее ночью. Верочку не покидало чувство вины; робкими пальцами она заплетала и расплетала бахрому ковра, важно брошенного на заднее сиденье. На ней была тяжелая цигейковая шуба, дорогой платок верблюжьего пуха, и вся она была такая разряженная и такая несчастная...

В больнице она пролежала несколько дней. Ее поразило отсутствие симпатии, насмешливое неуважение, окружавшее таких, как она; в палате их лежало человек десять. Все они были как будто не по-настоящему больны, зря отнимали время, внимание у врачей и сестер. Даже палатная нянечка — пожилая, тяжело работающая, угрюмая, — протирая у них пол, гневно двигала с места на место табуретки и тумбочки. А зря. У каждой из женщин была своя беда, своя боль; никто не избавлялся от ребенка с радостью, каждая охотно родила бы, если бы позволили обстоятельства: мешали квартирные условия, нужда, одиночество. Сходные эти судьбы почему-то не объединяли их, а разобщали. В разговорах преобладала озабоченность, взаимная ирония.

Говорили о свекровях, мужьях и любовниках с застарелой, прокисшей горечью. Все, кроме Веры, были работающие, разных профессий: шофер, кладовщица, библиотекарьша, сторож; была даже женщина — народный судья; на все рассказы о мужьях, любовниках и свекровях она отвечала однообразно: «Подай в суд». На Верочку, нигде не работающую, мужнюю жену, поглядывали отчужденно, но не без некоторой зависти: шутка ли, муж — командир! "Уж вы-то могли бы себе позволить!" — сказала ей однажды старшая из больных, болезненно-некрасивая бухгалтерша, у которой было уже двое детей и ни одного мужа... Она все кашляла и выходила украдкой покурить, что было строго запрещено.

Верочка, привыкшая за свою короткую жизнь, что все ее любят и всюду она своя, тяготилась своей ото всех отчужденностью. Обидно ей было и то, что женщины друг друга звали на «ты», а ее — на «вы». Отчасти она понимала почему: она для них была буржуйка, нэпманша в меховой шубе (кто-то видел, как Вера приехала, и успел раззвонить про шубу). Она закрывала глаза — и думала о своей любви. Но и это удавалось плохо, любовь ускользала; тогда она плакала потихоньку, спрятав голову под одеяло. Один раз ей туда просунули яблоко, что несказанно ее удивило. Она высунулась из-под одеяла, прижав яблоко к губам, как бы изза него выглаживая. На соседней койке сидела и смеялась новая больная — она-то, видно, и просунула яблоко.

— Не унывай, матрос, — сказала соседка.

— Есть не унывать! — ответила Вера по-моряцки. — Спасибо за яблоко.

Так они познакомились. Соседку звали Маша Смолина. Небольшая, худенькая, стриженная,

круто-кудрявая, похожая на мальчишку-беспризорника. Глаза светлые, волосы и брови темные, а на щеках такие глубокие ямочки, будто их нарочно проткнули пальцем. Сходство с мальчишкой усиливали усики в углах рта; с одной стороны рос такой длинный, независимый волос, что хотелось его выщипнуть, что ли. Разговорились, рассказали, кто — кто. Маша — врач, по специальности хирург, здесь работает на амбулаторном приеме, оперировать почти не приходится, да что делать? Прислали по комсомольской путевке. Конечно, глушь, но везде люди живут. Даже, может быть, лучше здесь люди, чем в крупных городах, — прозрачнее. Все бы ничего, да вот пострадала от собственной глупости, влюбилась («я вообще влюбчивая»), вышла замуж и — неудачно. Разошлись, а теперь вот какая история — не повезло! Была идея оставить ребенка, но не решилась из-за жилищных условий. Комнату оставила бывшему мужу, сама снимает чулан на окраине, холодно, ночью вода замерзает, пальцы во что превратились — смотри...

Маша подняла узенькую руку с припухшими, глянцеви́то— красными пальцами:

\* \* \*

— Называется ознобление.

— А он про твое положение знает? — спросила Вера.

— Думаю, нет. А впрочем, может быть, и да. Больно уж он последнее время хамил.

— А кто он по специальности?

— Он по специальности сволочь, — сказала Маша и рассмеялась.

У Верочки даже мурашки поползли. О муже — и такое сказать! Пускай бывший, а все-таки муж. Она не осуждала, просто не понимала. В общем-то Маша ей нравилась. В скором времени они даже подружились. Общая молодость их свела (моложе всех в палате), общее веселье, даже, пожалуй, окружавшее их неодобрение — обычное неодобрение взрослых, усталых, огорченных, когда они слышат молодой беспричинный смех... «Эк их разбирает!» — говорила старуха бухгалтерша — ей было, наверно, лет сорок, и кто только на нее польстился? Народная судья тоже не одобряла пустого хихиканья, мотала головой, как бы отгоняя невидимую пчелу. В этой прокисшей палате две их соседние койки ощущались ими как веселый остров. Между ними стоял ночной столик, накрытый скатеркой. Туда, под этот столик, под защиту скатерки просовывали они головы и шептались, прыскавая в кулаки, когда становилось смешно.

— Опять они под столом, — вздыхали соседки, — и как не надоеет, честное слово...

— Ну их к богу, — шептала Маша. — Пусть себе киснут, старые гориллы, а мы еще с тобой поживем.

Верочка охотно соглашалась еще пожить. Много еще в ней было молодости, жизнелюбия, любопытства. Тут, под столом, они шутили, вспоминали глупые анекдоты (тем и хороши, что глупые!), рассказывали о своем прошлом куче оно было, маленькое, а впереди — необъятность! Маша была сирота, росла в бедности, у чужих людей плохо ее кормили и мало, навсегда полюбила хлеб. Ничего не боялась, ничем не была никому обязана, только самой себе. Свою профессию любила до страсти. К болезням относилась как к людям. Могла сказать про какую-нибудь прободную язву: «Я люблю это заболевание». Совершенно пламенная была в ней гордость: «Я?! Ну, нет!» Верочка этого не понимала — где любовь, там гордости нет, — но вчуже уважала, побаивалась. Вообще на Машу она смотрела с доброжелательной завистью, вроде как на несбывшуюся себя. Многое ей было трудно понять.

Ты его очень любила? — спрашивала она шепотом, придерживая рукой сползающую скатерку.

— Казалось, что очень. Теперь думаю — не очень. «Пленной мысли раздраженье», — как сказал какой-то поэт.

— Какой поэт?

— Черт его знает. Классик.

— А он тебя любил?

— Кто? Муж или классик?

— Конечно, муж.

— Говорил, что очень. Я верила. Теперь думаю — врал.

— И не страшно тебе остаться одной?

— Мне?! Да я всю жизнь одна. Страшно не одной быть, а обремененной. Неужели я себя одну не прокормлю?

— Смелая ты, Маша,

— Какое — смелая! Типичная баба — трусиха и эгоистка. Была бы смелой, ребенка бы оставила: пускай развод, пускай условия — небось вырастет. А ты почему не оставила?

— Муж не хотел.

— По материальным условиям?

— Вроде. Он военный. Жизнь кочевая, сегодня — здесь, завтра — там. Ребенок в такой жизни ни к чему. А если война?

Верочка повторяла слова Александра Ивановича, но здесь, под столом, они звучали хило, неубедительно.

— Гм-гм, — отзывалась Маша. — А любишь его?

— Очень...

— Это-то и плохо. А я бы на твоём месте оставила. Пускай кочевая жизнь — взяла ребенка и поехала...

— Я тоже так думала. Он не хотел.

— А он у тебя не сволочь? По совместительству.

— Что ты, Маша! — ужаснулась Верочка. — Он прекрасный, замечательный человек. Если бы ты знала...

Перед нею плыли картины их любви. Как он взял ее за руку, как сказал... Как покачнулись стены... Какое у него было благородное, сверкающее, да, сверкающее лицо... Ничего этого нельзя было объяснить Маше.

— Ну-ну, — соглашалась Маша, — люби...

За несколько дней в больнице Верочка с Машей сблизилась той скороспелой, но подлинной близостью, которая часто возникает у женщин в беде (а ведь они были в беде, хоть и в малой...). Обменялись адресами. Маша обещала даже приехать в гости (Верочка, сама себе не хозяйка, ничего обещать не могла). Выписывались они в один и тот же день. За Верочкой приехал в казенной машине Александр Иванович с большим букетом роз (где он их достал в такое время года?). Верочка, всегда любившая розы особой, пристрастной любовью, сияла, прижимая к груди букет, все еще чувствуя себя виноватой, но великодушно прощенной... Машу никто не встречал. Она стояла на крыльце больницы столбиком, скромненькая, неказистая, пальтишко с куцыми рукавами, словно она из него выросла, на голове шапкаушанка, одно ухо вверх, другое вниз — ну мальчишка, и только. Стояла и нахально смеялась светлыми глазами.

— Познакомься, Маша, это мой муж, Александр Иванович.

— Догадалась, — сказала Маша, дерзко усмехнувшись уже не только глазами, но и маленьким усатым ртом.

— А это Маша Смолина, моя соседка. Если б не она...

— Очень приятно, — сказал Александр Иванович с полупоклоном, не подавая руки. — Вас подвезти?

— Благодарю, не надо.

Как-то залихватски прозвучало это «благодарю».

Попрощались. Верочка села в машину, подминая под себя полу тяжелой шубы. «Поехали», — сказал Александр Иванович. Машина тронулась. Небольшая фигурка все еще стояла на крыльце, ухо шапки трепыхалось на ветру, будто махая на прощанье...

— Ну, как она тебе? — спросила Вера, сама удивляясь, что она на «ты» с таким важным, начальственным человеком.

— Никак. Там ничего и нет — пустая кацавейка.

— Она удивительный человек, — сказала Вера дрожащим голосом, — врач и вообще... Я рада, что с ней познакомилась. Мы будем переписываться...

— На здоровье.

— И я хочу, чтобы она ко мне приехала в гости.

— А это мы посмотрим.

Профиль Александра Ивановича на фоне степного зимнего пейзажа был серьезен, строг, выточен, глаза глядели вперед, в затылок шоферу. Верочка примолкла, обнимая розы; букет колот ее, был велик... Приехали. Вот и белье полощется на соседнем дворике... Ларичев помог жене выйти из машины — из— за шубы она была неповоротлива, ввел ее на крыльцо, распахнул дверь и сказал с пафосом:

Входи, моя королева.

В столовой было очень светло, стол накрыт по-праздничному: вина, закуски, даже какой-то судок с горячим ждал, накрытый салфеткой. Верочка ахнула, уронила розы. Александр Иванович подошел к ней грозно и весело, не глядя под ноги, наступая на розы, прижал ее к себе. Она обняла его за шею и повисла, тяжелая, в сильных его руках, обморочно счастливая...

13

Какая огромная все же была их любовь! Сколько она ни проживет на свете, все будет помнить: было у нее такое счастье, было! Никто не отнимет того, что было. Была любовь. Была? Нет, не была, осталась. Несмотря ни на что. На болезнь, раздражение, ссоры. Вначале-то ссор не было. Были размолвки. И каждая чему-то учила...

Первая размолвка была в первый же день совместной жизни, когда они приехали в барачный поселок, где предстояло им жить. Бараки были дощатые, грубо сколоченные, нерадиво обмазанные глиной, и стояли они в голой степи, и гулял вокруг них ветер. Один из барачков — двухкомнатный, с террасой — назывался «виллой» и предназначался Ларичевым. Предшественник Ларичева, ныне демобилизованный по состоянию здоровья, жил в этой «вилле» бобылем, хозяйством не обзаводился, и домик очень был непригляден: стены голые, занозистые, ничем не обшитые, не оклеенные, всюду торчат гвозди, в углах — паутина. Из мебели — две койки, две табуретки, один стол и один гардероб. Когда входили в комнату, гардероб шатался.

В первый же день Ларичев ушел по своим делам, а Вера осталась дома. За что взяться, с чего начать? Неразобранные чемоданы паслись посреди пола. Раскрыла гардероб — оттуда запахло мышами. На полках — огрызки хлеба, ржавая высохшая селедка, грязные носки... Мышей она не боялась, но ими брезговала — дома у них мышей не водилось. Морщась, она собрала мусор, понесла во двор — авось помойка там найдется. И в самом деле, помойка там была, и очень обширная, давно перешагнувшая за свои естественные границы, увенчанная трехногим стулом. В помойке рылся мрачного облика пестрый пес. Завидев Веру, он зарычал, поджал хвост и отошел в сторону. Она выбросила сор; пес его обнюхал, не нашел ничего достойного внимания и возвратился к своим занятиям. Отсюда, со двора, был виден весь поселок — не маленький, но крайне угрюмый: ни зелени, ни цветка, одни веревки с полоскавшимся бельем; на ветру кальсоны обнимались с рубахами, стирая рукава и штанины. Одно-единственное, сколько видно кругом, дерево стояло во дворе «виллы», черствое, высохшее, как стручок. Толстая женщина на соседнем крыльце бесцеремонно разглядывала Веру из-под ладони, на робкую Верину улыбку не ответила, повернула к ней широкую плоскую спину и ушла в дом. Что делать? Вера тоже ушла в дом. Поселок ей не понравился. Мысль о хозяйствовании на новом месте пугала. «Вот придет Шунечка, — решила она, — вместе обсудим». А пока что поплакала, вспомнила мать, родную хату, море... До чего же там светло, весело!

Среди дня пришел Александр Иванович. Снял гимнастерку, звучно помылся в сенях, вытирался свистя (свист означал у него хорошее настроение) и, свежий и бодрый, скрипя сапогами, вошел к ней. Она сидела в душевном угнетении на одной из коек и расширяла пальцем дырку в казенном одеяле. Шунечка поцеловал ее свежими, твердыми губами и сказал бодренько:

— А ну-ка, жена, подавай обед.

— Обед? Какой обед?

— А что, нет у тебя обеда?

— Нет... А как я могла его приготовить? Из чего? Ни продуктов, ни посуды...

Она говорила полузапальчиво-полуробко, сознавая свою правоту, но боясь мужниного гнева... Но Шунечка не сердился. Он просто и спокойно сел за стол и ее пригласил жестом:

— Сядь-ка, поговорим. Она села, ошипывая юбку.

— Послушай, Верочка. Ты еще молода, неопытна, жила в семье на всем готовом. Я тебя не осуждаю, я хочу тебе добра и только добра... Что-то было знакомое в его интонации. Так говорят, играя голосом, опытные актеры на амплуа «благородных отцов»...

— ...Повторяю: хочу тебе только добра. Выслушай меня внимательно и постарайся запомнить то, что я скажу. Постарайся?

— Да.

— Так вот, послушай. Мы с тобой муж и жена. У каждого из нас есть права и есть обязанности. Моя обязанность — служить, приносить домой деньги. Твоя обязанность — вести дом. И не как-нибудь вести, а с вдумкой, с инициативой. Чего-то нет? Придумай, где взять! И не обращай ко мне с пустяками. Я, мужчина, выше этого. Ясно?

— Ясно.

— Дальше. У каждого из нас есть права. Мое право, придя домой со службы, где, поверь, я не в бирюльки играю, увидеть веселое лицо жены, без следов слез. А сегодня... признавайся: плакала?

— Да...

— Это дело твое. Но учти: следов слез на твоем лице видеть я не согласен. Плачь где хочешь и сколько хочешь, но к моему приходу ты должна быть умыта, свежа, весела. Понятно?

— Понятно.

— Приличия существуют и в семейной жизни. Терпеть не могу баб, которые одеваются только в гости, а дома ходят распустехами...

Он как-то очень уж брезгливо помрачнел. Видно, эта тема задевала в нем что-то личное...

— Шунечка, я не буду.

— Еще не все. Мое право, право мужа, придя домой, сесть за стол и пообедать. Обед в доме должен быть каждый день. Не мое дело, из чего ты этот обед сваришь. Я неприхотлив. Для меня важно, чтобы все было подано с улыбкой, весело. Чтобы на столе была чистая скатерть. Никаких клеенок! И чтобы первое и второе подавали мне не на одной тарелке, а на разных. Чтобы у моего прибора лежала салфетка лучше в кольце. Усвоила?

— Усвоила.

И еще. Я хочу, чтобы в моем доме было красиво. Чтобы каждая вазочка, каждая пепельница была поставлена с любовью, со вкусом. Нет вкуса? Развей! Я хочу, чтобы, когда я приведу гостя, моя жена приняла его радушно. Чтобы в доме было всегда чем угостить — ну там варенье, соленье, печенье, — в это я не вдаюсь. Я хочу, чтобы люди говорили: «Как хорошо у Ларичевых!» Вот чего я хочу. Это мое право. Поняла?

— Поняла, — сказала Верочка, вдруг развеселившись. Я только одного не поняла. Ты говоришь: у каждого из нас свои обязанности и свои права. Мои обязанности ты перечислил. А где же мои права?

— У тебя одно право: быть любимой. Или тебе этого мало?

Чуть-чуть, на волосок, поднялась соболиная бровь. Верочка поспешила ответить:

— Нет, не мало.

Что тут началось: вихрь, смерч. Одним словом: любовь. Что было удивительно в любви Александра Ивановича это ее внезапность. Сидит-сидит человек и вдруг — любит! Верочку каждый раз словно несло, и она, обмирая, глупела...

В тот день они так и не пообедали. Несколько раз она порывалась встать: «Дай, я тебе хоть яичницу сделаю», — он не пускал. Тут не до яичницы, ни до чего на свете. Зато на другой день и всю жизнь было все: и обед, и скатерть, и цветы, и улыбка. И всегда, всю жизнь, люди говорили: «Как хорошо у Ларичевых!» А чем это достигалось? Любовью, конечно. Любовь вдохновляет на подвиги, это известно. Верочкины подвиги были малые, повседневные: доставать, готовить, красить, белить, штукатурить, стирать, вышивать. Под ее наблюдением солдаты построили кухню-временку, починили забор, перестлали крышу. А обзаведение? В магазине, единственном на весь поселок, ничего нужного не было, только традиционный сельский набор: пилы, косы, топорича, сапожный вар. Но она не терялась. Как так ничего нет? Где живут люди, должны быть и вещи. Даже какой-то героизм чудился ей в добывании. В быту, где вечно чего-то не хватает, приобретение вещей теряет свой низменный, мещанский характер, превращается в своего рода охоту, благородный спорт. Верочка с азартом кинулась в это одухотворенное добывание. У нее выработалось чутье: где искать, к кому обратиться, кому улыбнуться. В общем — то люди помогали ей охотно, отчасти из уважения к мужу, который в районном масштабе был человеком заметным, но многое тут зависело и от ее личной прелести: светлого, молодого лица, веселой приветливости, шариком прыгающего "р". Люди улыбались, видя Верочку, радовались, ей помогая. Все: кастелян, продавщица, повар, завхоз. Помогая ей, они любили ее и себя самих — а это ведь тоже дар.

Готовить она научилась у Никодимыча, повара командирской столовой. Это был мрачный, возбудимый старик, непризнанный гений, жертва бутылки. Людей вообще он терпеть не мог, но для Верочки делал исключение. Куражился перед ней, распускал хвост, поражая обилием знаний. Рецепты в нем роились, как рифмы в душе поэта. Он научил Верочку жарить мясо «на святом духу» (самое жесткое становилось мягким и сочным); солить не сразу, шалаяйваляй, а в три приема («для начала», «для разгону» и «для радости»), и не солью сыпучей, а жидким рассольцем (бутылку с рассолом, обросшую изнутри кристаллическим мхом, он годами хранил в шкафу). Колдовал со всякими приправами перцем, кардамоном, мускатным орехом. Учил ее, что блюдо мало состряпать — надо «поднять», а чем поднять? Это само блюдо знает. Капельку уксуса, мазок горчицы, четверть ложечки сахарной пудры... А то и вовсе уже странное: лоскут свиной кожи, вареный-переваренный, от старости весь в трещинах; и вот незаменим был этот лоскут, когда требовалось «поднять» курицу. Между прочим, курицу Никодимыч варил не как-нибудь, а «с хрусталем» для этого служила всегда одна и та же тяжелая граненая, косо оббитая хрустальная пробка («Был и графин, — бормотал Никодимыч, — все у нас было, а что осталось?»). Эту пробку он однажды, в порыве великодушия, подарил Верочке: «Ты молодая, а мне все равно умирать». Она приняла подарок благоговейно и потом всегда, когда случалось варить курицу, клала пробку в кастрюлю... Асам Никодимыч, говорят, вскоре после их отъезда из Зауралья умер...

Приходилось, кроме того, учиться домоустройству — это уже у самой себя. Месяца через три после приезда старого барака не узнать было: он и впрямь стал похож на виллу... Что-то южное, отрадное. Комнаты светло и свежо покрашены: спальня зеленым, столовая желтым. В углу спальни лампа-торшер на высокой ноге, абажур кринолином. Тахта из двух коек — низкая, раскидистая, с грудой подушек. Ступенчатая полочка с книгами; кое-где небрежно, как бы невзначай, кинуты веточки ползучих растений. На окне — колония кактусов, низенькие, смешные, колючие, они теснятся друг к другу, как люди на совещании. Один из них вдруг расцвел — видно, обрадованный хорошим уходом; ярко-розовый венчик лезет прямо из мясистого, грубого тела. Какое-то милое приволье царит в комнате — здесь хочется отдохнуть, читать книги, тихо переговариваться, обмениваясь ласковыми словами. В желтой столовой все бодро, весело: ярко начищенная бронзовая чаша посреди стола, в которой красиво лучится солнце, две-три фарфоровые безделушки, ваза опалового стекла, дешевая, но нарядная, в вазе — одна настурция огоньком. На террасе — уютно раскинутые полосатые шезлонги Верочкиной работы, той же материи занавески, подушка с помпонами для кота.

Гости у них бывали нечасто. Иногда Александр Иванович приводил кого-нибудь из подчиненных для делового разговора. Деловой-то деловой, но — «Верочка, распорядись!». Она уже знала, что нужно: несла на подносе графинчик, рюмки, закуски: грибки соленые, колбасу, селедку с луком... А главное, шла с улыбкой и, обласкав гостя этой улыбкой, ставила поднос и уходила. Все как учил Шунечка: тихо, скромно, весело.

Иногда приезжала комиссия из центра, ее тоже полагалось принять, угостить. Александр Иванович говорил: «Сама понимаешь». И выдавал на хозяйство лишние деньги. Тут уж Верочка разворачивалась: в ход шли лучшие секреты Никодимыча. Пирожки-волованчики, в полпальца длиной, нежные и смуглые, до того воздушные, что казались духовными, нематериальными. Или, наоборот, сугубо материальная, торжественная телячья нога, румяно зажаренная, облитая каштаново-жаркой подливой, благоухающая чесноком и тмином. Или сладкий пирог по имени «утопленник» тесто для него подходило не на воздухе, а под водой, и, готовое, всплывало, надувшись шапкой...

На этих приемах Верочка садилась за стол с гостями, но сидела непрочно, сторожко, то и дело вскакивая — подать, принести, улыбнуться. Комиссия ела, пила, приятно беседовала и, уходя, говорила: «Как хорошо у Ларичевых! Живут же люди, несмотря на трудности быта». Выводы комиссии в отношении ларичевского хозяйства всегда были отменные, и по справедливости: Александр Иванович в своей воинской части порядок навел образцовый, поднял дисциплину, изжил нарушения, исправил дороги, бараки обсадил палисадниками, и поселок постепенно приобретал новое, благоустроенное лицо. В праздничные дни, украшенный флагами, он казался даже нарядным. Верочка вообще-то любила праздники, но здесь в эти дни скучала. Близких друзей у них не было, да и не хотел Ларичев заводить близкой дружбы с подчиненными. Разве что иногда, раза два-три в год, ходили они в гости к начальнику штаба или сами коекого приглашали; гости приходили церемонные, с толстыми женами, были вежливы, пили с осторожностью, а жены и вовсе не пили, жеманились. От дружбы с этими женами Ларичев Веру остерегал: «Бабы, сплетницы, мало ли чего сплетут, а ты — жена начальника, ты должна быть всего этого выше». Впрочем, и сами-то жены Верочку недолго любили-за молодость, светлое лицо, а главное, за то, что их мужья говорили о Ларичевой с улыбкой. В кругу командирских жен Верочка слыла гордячкой, и зря — чего-чего, а гордости в ней не было, просто всегда была занята. Дом с благоустройством отнимал много времени, забота о муже, а тут еще сад, огород... Своими руками вскопала, распушила, удобрила глинистую землю, посадила цветы, огурцы, редиску, салат. Все это надо было поливать, а колодец неблизко. Вера шла по воду в пестром своем сарафане, с голубым платочком на светлых уложенных волосах и сама была похожа на большой, не очень

изысканный, но веселый цветок. Мужчины, встречая ее, улыбались искренне, а женщины принужденно. Они уже зачислили Верочку в категорию «разлучниц» — пронюхали, что Ларичев из— за нее оставил семью, и крепко побаивались за своих мужей. А она, полная любовью своей до краев, и глядеть-то на этих мужей не хотела...

..."Бедная я, бедная, — говорила самой себе Вера Платоновна, сидя в полудремоте у гроба, — всю жизнь в разлучницах, и за что? Я ведь и не знала тогда, что он женат. И потом — целую жизнь ни на кого, ну ни на кого не поглядела... Он, он один..." От горящих свечей было жарко, мучительно жарко щекам. Хотелось лечь спать. Ну вот, опять кто-то вошел, чего-то будут от нее требовать, в чем-то обвинять. Оставят ли ее когда-нибудь в покое?.. Нет, это мать с телеграммой...

— От Юры, — сказала Анна Савишна. — Едут с Наташей.

— Пускай едут, — вздохнула Вера. — Пускай все едут. Все равно.

Юра был сын Александра Ивановича, Наташа — его жена.

14

Однажды — было это еще в зауральском поселке — Александр Иванович получил письмо (откуда — спрашивать не полагалось), два дня был озабочен, пел в нос, барабанил пальцами по столу и наконец сказал:

— Вот в чем дело, Верочка. Анна Петровна, бывшая моя жена, тяжело заболела, ее кладут в больницу. Сын Юра остается один, без присмотра. Придется нам с тобой временно взять его сюда.

— Ну, разумеется, — сказала Вера, но неуверенно както. Сын Юра был непонятен, чем-то даже страшен, как звено, связывающее Шунечку с прежней семьей, куда он о ужас! — мог вернуться. Сын Юра... Новое, совсем уже лишнее осложнение в до краев заполненной жизни. Что с ним делать? Как обращаться? Куда, наконец, уложить? В столовой? Мысленно она уже ставила в столовой лишнюю койку. Ничего, если накрыть желтым...

— Отлично. Будем считать дело решенным. Конечно, от тебя никто не требует, чтобы ты разводила сантименты. Ребенок должен быть одет, умыт, накормлен — и только.

— Понимаю.

Юра приехал через несколько дней. Это был большеглазый мальчик лет шести— семи. Удлиненное лицо, русые волосы, мягко спадающие на высокий беленький лоб. Что-то в этом лице — может быть, горчичная прелесть взгляда — напоминало отца, но больше было другого, чуждого. Вера смотрела на мальчика со смешанным чувством тяготения и отталкивания. Юра был робок, за столом невоспитан, ел руками, мыться приучен не был... Вера пыталась его разговорить — он усмехался не по-детски криво, отвечал односложно: да, нет. Кота, впрочем, погладил и ему улыбнулся по— хорошему, показав молочно-белые, крупные для маленького рта, отцовские зубы. Кота звали Кузьма.

Почему Кузьма? — спросил Юра сипловатым голосом. — Разве Кузьма — кошиное имя? — Конечно, кошиное. Ты только послушай: Кузьма, Кузя, Кузема...

Кот лениво повернулся, услышав свое имя, поглядел презрительно янтарными глазами и уснул. Кот был необыкновенно ленив и ухитрялся спать в любом положении: возьмут его за задние

ноги, он висит и спит...

— Ты посмотри, какой он ленивый, — сказала Вера, прямо рекордсмен по лени. Упри его носом в стенку — не отстранится, будет спать.

И в самом деле, кот спал, уткнувший носом в стенку, в самой неподходящей позе. Юра засмеялся:

— Рекордсмен по лени! Я раньше думал, что это я. Лед между Юрой и Верочкой слегка треснул. Окончательно он распался вечером, когда она, укладывая мальчика спать, заметила, какие у него грязные маленькие ноги... Она согрела воды, вымыла Юру в корыте. Он сопротивлялся, стесняясь худенькой своей наготы, по-мужицки закрываясь двумя руками. Вера прикрикнула:

Чтобы у меня этих глупостей не было! Что я, голых мальчиков не видела?

Юра оробел, опустил руки по швам и покорно дал себя выскоблить. Лег он в постель чистый, тихий, розовый, весь утонув в Шунечкиной огромной рубашке с трижды закатанными рукавами. Вера поцеловала его в лоб, ощутила миндальный запах мыла и влажных волос и легонький укол в сердце, уже готовое любить этого мальчика, чужого сына. Вспомнился ей свой — нерожденный, неполюбленный... Может быть, этот послан ей взамен — мало ли какие штуки выкидывает судьба?

Юра трудно приживался в отцовском доме, но все же приживался — отходил, оттаивал. Мальчик был сложный, вниманием не избалован, подолгу, видно, недоедал, чем-то был напуган. Было у него что-то в прошлом неладное — какие-то товарищи, мучившие его и, может быть, вовлекшие во что-то грязное... Он кричал по ночам, кого-то гнал, плакал, ругался плохими словами, и глаза у него, если зажечь свет, были загнанные, как у львенка в зоопарке. Страдал непонятными страхами: боялся солнца, боялся форменной фуражки, не мог привыкнуть видеть ее на отце. Время от времени на него находили странные приступы: он как бы окаменевал, тупо уставившись в одну точку; из этого состояния его нельзя было вывести, и оно особенно пугало Веру (тяжелая болезнь матери была душевная). А иногда он вдруг становился обычным мальчиком своих лет — бегал, смеялся, играл с котом. Кот Кузьма был нескончаемым источником удовольствий: его титаническая лень, вычурные позы, в которых он засыпал при любых обстоятельствах (например, на весах, когда его взвешивали), его философское равнодушие к суете земной, скажем, к бумажному бантику... Все это восхищало и забавляло Юру, словно бы он отгораживался котом от своего прошлого, весь был тут и светился... И вдруг, в разгаре игры, внезапным ударом — молчание, тупость, пустой и враждебный взгляд...

Развитие у Юры было тоже странное, неровное. Запас представлений довольно богатый. Знал множество слов, зачастую замысловатых, книжных. И наряду с этим — глухое невежество. Не мог сложить два и три. Не знал, в какой стране живет, как его фамилия. Прекрасная память: мог запомнить с одного раза не только стихотворение — длинный рассказ. А ни одной буквы не знал. Вера учила его читать; хитрый мальчишка притворялся, что читает, а на самом деле просто шарил наизусть то, что однажды слышал... Вера билась с ним, мучилась, но все ее старания шли без отклика, как будто в вату... Иной раз она не спала по ночам, придумывая: как бы ей подобраться к Юре?

А Александр Иванович сыном не особенно интересовался. Днем приходил домой только обедать, и к его трапезе мальчик не допускался: то был священный ритуал домашнего уюта, красиво накрытого стола; и жена должна была быть преданной, внимательной, улыбающейся.

Вечером, когда отец возвращался, Юра обычно уже спал или из осторожности делал вид, что спит. В выходные дни Александр Иванович читал, играл сам с собою в шахматы, а Юра старался не попадаться ему на глаза. Изредка встречая сына, Ларичев спрашивал: «Как дела?» И, получив ответ «хорошо», вполне этим удовлетворялся. Однажды вечером, придя домой раньше обычного, Ларичев застал Верочку за сентиментальным занятием: она укладывала Юру спать и целовала его на ночь. Александр Иванович скривился, как от кислого, поднял бровь и сказал: «Ну, это уже лишнее». С тех пор Вера таила от него свою незаконную любовь, как преступление. Больше всего она боялась, что Анна Петровна выздоровеет и заберет сына.

Веселая, дружелюбная Верочкина любовь делала исподволь свое дело. Юра менялся к лучшему. Он поздоровел, вырос, стал смешлив, даже проказлив, что несказанно ее радовало. Наконец— то выучил буквы и начал читать по-настоящему. Обнаружил способности к рисованию. Вера купила ему карандаши, краски, альбом и с материнской гордостью показывала его рисунки всем, кто соглашался смотреть (Шунечке, разумеется, и не предлагала). В альбоме больше всего было портретов Кузьмы, который вдохновлял Юру, как Саския — Рембрандта. В общем, дело шло на лад: Юра, выросший, похорошевший, с милой улыбкой на открытом лице, стал ей радостью, гордостью, помощником в доме, в саду. Смеясь, они пели вдвоем старый— престарый романс про белую чайку (особенно дорог был ей этот романс), и она рассказывала Юре про море (он никогда не видел моря), про чаек (он их видел на Чусовой) и про свою встречу с Александром Ивановичем («В это время из-за камня выходит человек, и это был твой папа»...).

Юра уже прожил у нее больше года — скоро ему должно было исполниться восемь лет. Пора в школу... Вера загодя закупила тетрадки в косую линейку, пенал, ручку, резинку с зайцем... Наступит осень, и ее сын (он был ее сыном, был!) пойдет в школу, принесет пятерку... Что там — пятерку! Пусть двойку!

Но вот однажды вечером Александр Иванович пришел мрачноватый — брови вместе — и сказал:

— Собирай Юрку. На днях повезу его в интернат. Ее словно ударило...

— Как? Зачем? Какой интернат?

— Для сирот военнотружущих, в нашей же области. Хлопотал, приняли. Мальчишка все равно что сирота. Мать неизвестно когда выйдет, и выйдет ли. Пора его пристроить к делу. Все Все рисуночки, Кузьма, бабьи фокусы — побоку. Должен расти мужчиной. Условия в интернате прекрасные — дисциплина, обучение — все.

— Он бы мог ходить в школу здесь, в поселке...

— Хороша школа! Учителя сами не знают, чему учат.

— Я бы ему помогала...

— Воображаю. А еще мог бы ему помогать Кузьма. — Я...

— Верочка, вопрос решен. Ясно?

— Ясно... В общем, собирай мальчишку. Одежду вычисти, белье постирай, носки перештопай. Через неделю я сам отвезу его.

...Поезд ушел. За пыльным окном пропало бледное Юрино лицо. Так и не успела толком

попрощаться: мальчик, как всегда, дичился в присутствии отца. Отвернулся. Запомнилась пушистая щека, нежное ухо, тонкая шея в белом воротничке, но не взгляд, взгляда не было. Увезли сына. В голове все еще стучали колеса, увозившие сына. Она села в казенную машину и поехала домой степью, голой как стол. Дома было пусто, узенькую койку из столовой надо было убрать. Вера стала на колени перед этой коечкой, опустила голову на детскую подушку, пахнущую миндальным мылом, и на несколько минут замерла. Потом встала и принялась за работу.

Шунечка вернулся через неделю.

15

— Вера, это ты?

Кто-то заглядывал в окно со двора. Невысокая стройная женщина в беретике, в детских туфлях... Неужто Маша?

— Машенька! — завопила Вера немзыкальным голосом и кинулась к двери. И точно — Маша! Чудо чудное, диво дивное!

— Сама приглашала, а сама не ждешь, — смеясь, говорила Маша. — Ну, как, принимаешь гостью?

— Еще спрашиваешь!

Объятия, поцелуи. Поцелуи, объятия. Конца им нет. У Веры — слезы, у Маши — нет, но тоже, видно, обрадована.

— Красиво у тебя. — Нравится?

— Очень нравится. Только, должно быть, массу времени это стоит. Времени и сил. Души.

«Любви, — подумала Вера, — про любовь не забудь».

— Машенька, раздевайся, устраивайся. Где твои вещи? Вещей был крохотный чемодан, не чемодан даже — баульчик. Старенький, потертый, с испорченным замком, веревкой перевязанный, чтоб не открывался. Вера опять прослезилась, глядя на ту веревочку, — как похоже на Машу! — Спать будешь здесь, в столовой. Нравится тебе?

— Слишком нравится. Лучше все это не было бы так роскошно. Я к роскоши не привыкла.

— Бог с тобой, какая роскошь? Обыкновенный уют.

— Обыкновенный уют и есть самая большая роскошь. ...Бог ты мой, все та же Маша, и волос из уса торчит.

— Ну, садись же, рассказывай. Как живешь?

— Нормально. Работаю как оглашенная. В этом году оперировала грыжу, делала две резекции желудка... Без осложнений.

— С мужем не помирились?

— Что ты! Я еще с ума не сошла.

— За другого не собираешься?

— Пока нет.

— Только пока?

— Думаю, что вообще. Сошлась с женатым.

— Да что ты?! — ахнула Вера.

— Вот, так получилось.

— Любишь его?

— Ужасно.

— Больше всего на свете?

— Угу.

— И как же ты... Не стыдно тебе, что женатый?

— Не стыдно.

...Ну и Маша. Только подумать: сошлась с женатым — и ничего. Даже как будто гордится. Это еще надо усвоить...

— Что же это мы с тобой: болтаем-болтаем, а тебе надо умыться с дороги, переодеться, покушать...

— Переодеваться мне не во что, умоюсь охотно, поем тоже.

Какой-то у Маши стал телеграфный стиль. Вера отвела ее в свою «ванную» — угол за перегородкой, где стояли тазы, ведра, кадки с водой, фикус, где полно было пышных розовых полотенец, где даже висело зеркало. «Стародворянская обстановка», — сказала Маша.

— Это еще что! Скоро мы настоящую ванну поставим, воду проведем, канализацию. Здесь у нас будет душ, а здесь — смотри — уборная. Верно, уютно?

— Как в «Гранд-отеле».

Лицо Верочки сияло гордостью за свой дом, свои труды, будущий водопровод, канализацию... Когда Маша умылась,

она накормила ее обедом, сокрушаясь, что не знала заранее, а то бы...

— Еда была прекрасна, — сказала Маша. — Нет, еда была прелестна.

— Ну, какая это еда? Вот завтра я тебя накормлю настоящим обедом. Ты не знаешь, что такое настоящий обед?

— Знаю. Тот, которым ты меня накормила. Сверх этого будет уже безнравственно.

После обеда Верочка с Машей сняли туфли, завалились на супружескую тахту, по уши в подушках, и начали болтать. Главным образом про любовь — вечная женская тема, никогда не

иссякающая. Маша рассказала, как встретила с «женатым», как у них все получилось, как впервые поцеловались, что сказал он и что она ответила...

— А как жена? — спрашивала Верочка.

— Обыкновенно. Жена как жена. Существует.

— И он.... не хочет на тебе жениться?

— Хочет, да не может. Там не только жена, там дети.

— Дети... я и не знала.

— В том-то и горе. Будущего у нас нет. Мы о нем и не заговариваем. Любим друг друга — и все.

— Смелая ты.

— Да уж куда смелее. Совсем с ума сошла. Знаешь, что я затеяла? Родить ребенка.

Вера обомлела:

— Да что ты?! Врешь!

— Провалиться мне на этом месте.

— И... давно?

— Четвертый месяц. Отступать поздно. Решение глупое, но принято сознательно.

Вера молчала.

— Ну, что молчишь? Мое дело пропащее. Ты про себя расскажи.

Вера рассказала про себя: как жила, какие были трудности быта, как Юру воспитывала, как его полюбила, как пришлось его отдать...

— Фью, — присвистнула Маша совсем уже по-мальчишески, — ну и с лешим же ты себя связала.

— С каким лешим? — не поняла Вера.

Да с твоим Шунчиком. Настоящий леший, и брови такие же. Вера обиделась:

— Брови у него прекрасные. Соболиные.

— Пускай соболиные, и все-таки он леший.

— Нет, не леший.

— Нет, леший.

— Не говори так. Я же его люблю. Ты сама любишь, должна понять.

— Знаешь что? — сказала Маша Смолина. — Я сейчас поеду.

— Куда? — не поняла Вера.

— Обратно. К себе домой.

— Ты с ума сошла!

— Ничуть. Я приехала с тобой повидаться, а не с Шунчиком. Мне он противен. Видеть его не хочу.

Маша вскочила с тахты, надела ребячьи туфельки на маленькие ноги, взяла баульчик, плащ, помахала рукой.

— Ну, прощай, милая, не огорчайся, еще увидимся. Спасибо за прекрасную еду. Нет, прелестную еду.

— Неужели ты это серьезно?

— Вполне серьезно. Целуй и прощай. Поцеловались. Вышли во двор.

— Дай хоть провожу тебя.

— Не провожай. Я на попутном.

Вера, растерянная, глядела Маше вслед, что-то в ней рвалось, тянулось за уходящей; так, говорят, домашние гуси хлопают крыльями, видя, как летят дикие, — хлопают, гогочут, тянут шеи... Вот и в Вере все хлопало и гоготало... Ловкая, небольшая фигурка шла по дороге к станции. Ее обогнал грузовик, она помахала плащом, просясь на борт, грузовик остановился, Маша птицей вспорхнула на колесо, оттуда — в кузов, а дальше все застлало поднявшейся пылью. Уехала...

Вера вернулась в дом, прибрала тахту, взбила подушки. Слово и не было здесь никаких диких гусей... Села шить — Шунечке рубашку. Швейную машину недавно приобрели. Солнце село, в комнате стало темнеть, а она все шила да шила. Швы, как учила ее мать, проходила зубами — ровнее ложились.

Вот и шаги на крыльце. Пришел Александр Иванович, окликнул ее:

— Верочка? Здесь ли ты, моя дорогая?

— Я здесь, — сказала Вера и вышла ему навстречу.

16

Часы тикают, а время идет... Вот уже десять лет, как они женаты. Вера пополнела, раздалась в плечах и бедрах, но все так же светла лицом, незабудками глаз, все так же мило, картавым хвостиком, заканчивает свое "р". Александр Иванович, Шунечка, постарел немного, голова, сжатая с боков, кажется выше, строже, виски поседели, разлохматились соболиные брови. Детей у них нет, так с того разу и не было. Вера теперь и не жалеет, что нет ребенка, — при такой жизни, в разъездах да хлопотах, был бы он ни к чему. А судьба тем временем все гоняет их из края в край, из степи в город, из города в тундру, из тундры на сопки, на острова, и везде надо устраиваться, обрастать бытом, жить. Вера всему выучилась, за неделю ухитрилась прижиться, обставиться, обзавестись. Научилась укладываться в дорогу, отбирать самое нужное, без сожаления расставаться с лишним, на новом месте одной салфеточкой на столе,

одной веткой в вазе создать дом. Везде, куда ни забросит судьба, Александр Иванович Ларичев на хорошем счету — командир строгий, толковый, разумно требовательный. Дел у него выше головы, а время сложное, повсюду шпионы, вредители — долго ли попасть в беду? Но судьба пока что милует Ларичева, как-то обходит он опасные точки, хотя и с риском для головы... Иной раз придет домой и молчит, слова не скажет. Вера его ни о чем не расспрашивает, старается без слов, одним своим веселым, ненавязчивым присутствием отвлечь его, развлечь... Не всегда, ох не всегда это ей удается. Спят они теперь на разных кроватях, если квартирные условия позволяют. Один только раз намекнул Александр Иванович, что не выспался, — Вера сразу поняла намек, оборудовала себе ложе в соседней комнате, не обижалась, не дулась. Человек немолодой, может быть, ему не до этого. А хотелось любви — ничего не скажешь... Иной раз Шунечка по две недели, по месяцу к ней не приходил. Зато уж когда приходил, все было по-прежнему. Каждый раз — как первый.

В сущности, Вере, как и многим женщинам, не так уж нужна была любовь в узком, буквальном смысле. Нужны ей были аксессуары любви: слова, цветы, комплименты, клятвы. Не скрытое, подразумеваемое, а открытое, словами выраженное обожание. В свое время именно словами Шунечка ее покорила. На слова он не скупился и теперь, но только в минуты близости. А как это бывало редко... Верочка без слов высыхала, как цветок без воды. К счастью, она была умна и понимала: ни один мужчина не может много лет подряд говорить, говорить слова одной и той же женщине. Скажи спасибо, что хоть изредка он их тебе говорит...

А времени свободного бывало довольно много — за эти годы Вера научилась все делать толково, складно, дела у нее были упакованы плотно, как вещи в чемодане. В свободное время она много читала, перечла всю классику (совсем поновому, не по— школьному, а для души). За современной литературой тоже следила, выписывала два журнала, читала охотней всего про любовь, но и публицистику тоже проглядывала. Очень падка была на юмор: иной раз, сидя за книжкой, принималась смеяться, как заведенная. И у самой был дар подмечать и описывать смешное; он проявлялся главным образом в письмах, которых она писала великое множество. Пересыпанные запятыми, живые, веселые. В них она описывала свой сад, где каждый подснежник расцветал по-своему, новую чудную блузку, неожиданную встречу на улице, своих соседей с женами (серия портретов), происшествия в гарнизоне... «Черт возьми, Верка, да у тебя же талант! — писала ей Маша. — Твои письма непременно надо печатать!» Читая, Вера только посмеивалась смущенно. Смех смехом, а она и в самом деле чувствовала в себе что-то вроде горячей точки, разгоравшейся, когда она бралась за перо. Однажды она до того расхрабрилась, что отнесла небольшую заметку, на тему о бытовых неустройствах, в редакцию местной газеты. Заметка получилась и в самом деле смешная, Вере самой нравилась. В редакции ее прочли, посмеялись, одобрили, но не напечатали: «Мало пафоса, мелкотемье». Вера больше литературных попыток не возобновляла и только боялась, как бы не узнал обо всем случившемся Шунечка. И все-таки что-то сосало внутри. Временами ей становилось неопределенно-тоскливо: вот десять лет прошло, и еще десять пройдет, и что? Все то же: уют, пирожки, торшеры, а любви все меньше, кончается любовь. Тянуло ее к какому-то не домашнему, внешнему делу, где гуляют сквозняки жизни. Однажды — жили они тогда в областном городе — смертно захотелось ей пойти работать. И место уже подыскала: секретарем редакции. Но Шунечка не позволил:

— Глупости затеяла. Твое дело — дом, семья. Навидался я этих работающих жен. Она — развлекается, а он заброшен, сам себе трусы стирает. Нет уж, моя дорогая, у нас с тобой так не будет.

— Шунечка, честное слово: я со всем справлюсь, и с работой, и с домом! Я же сильная! Ну, попробуй!

— Сказал: нет.

Так он все чаще начал ее обрывать: «Сказал: нет», — и разговор кончен. А тут скоро их из областного города перевели опять в захолустье, а там работать — и хотела бы, а негде.

Вера тайком купила гитару и кой-как, по самоучителю, выучилась играть. При Шунечке стеснялась: однажды сказал он, что нет у нее слуха. Только и похвалил он ее один раз, самый первый, когда пела про чайку...

Да, давно это было. Идут годы, идут...

И кот — война.

Она застала их в Белоруссии, в одном из малых городов близ границы. Утром проревели над городом немецкие самолеты, сбросили бомбы, закричала дико, грозя кулаками небу, мать убитого ребенка, и вся жизнь перевернулась: война.

Александр Иванович зашел домой на минуту — подтянутый, строгий, скрипя сапогами, ремнями, всей выправкой скрипя.

Верочка, я ухожу. Тебе надо уезжать. Пробирайся всеми средствами к маме. Буду писать на ее адрес. До вокзала подбросит тебя машина, обратись к начальнику станции, он предупрежден. Вещей не бери, все равно не сохранишь, только самое необходимое. Ну, будь здорова, родная.

— Шунечка, не оставляй меня, возьми с собой. Я не помешаю, возьми меня, только возьми!

— Сказал — и все. Ну, ни пуха тебе, ни пера. Поцеловал в губы, снял ее руки со своей шеи и вышагнул бодрыми шагами навстречу войне, жизни, своей судьбе.

...Видавшая виды «эмка» подбросила Веру к поезду длинному эшелону, полному женщин, детей, стариков и старух; все это толпилось, волновалось, плакало... Начальник станции переспросил: «Ларичева?» — и сам посадил ее в вагон. Впрочем, не «посадил», «поставил» — в вагоне можно было только стоять; ноги, ноги, ноги свисали с верхних полок. Чемодан с вещами тоже поместился и встал рядом с нею, что было странно: жизнь потеряла реальность, чемоданы были в ней ни к чему, и призрачным был весь эшелон с этими сверху свисающими, как бы разваренными ногами, и странной была сверкающая белая улыбка на черном от копоти лице начальника станции... Как будто он смеялся какой-то своей, отдельной, сумасшедшей радости... На самом деле он просто смертельно устал и, заноса ногу для очередного шага, не знал, как ее опустить на землю...

А дальше — дорога, долгая, мучительная, часто опасная. Плакали грудные дети, хором откликаясь на взрывы падающих бомб. Эшелон останавливали, пассажиры выбегали и ложились вниз лицом в богатые травы, пахнувшие росой. Вставали живые, лежать оставались убитые, раненых втаскивали в эшелон. Белье из Вериного чемодана разорвали на бинты, а там потерялся и сам чемодан. На одной станции пришел начальник поезда, объявил пассажирам, что путь впереди разрушен, дальше эшелон не пойдет, и предложил каждому добираться, куда ему нужно, своими силами. Хромая черная старуха с двумя детьми закричала исступленно: «Никуда я не пойду, паразит чертов, корми меня с ними, с обоими». Он вежливо сказал ей: «Пройдемте, гражданка», — взял на руки младшего из ребят, другого-за ручку и увел обоих из вагона; старуха с проклятиями поспешала следом. Пассажиры, толпясь и толкаясь, осаждали машины; Вера очутилась в каком-то грузовике, куда ее, крякнув от натуги, посадил рослый железнодорожник. В руках у нее была чудом уцелевшая сумочка с документами и деньгами, которые, впрочем, в этой обстановке были ценностью сомнительной... Машина направлялась

на юго-восток, а где-то в том же направлении, по Вериным расчетам, должен был находиться и пока благоденствовать приморский город, ее родина, с летящими по ветру красными фестонами полотняных маркиз. Оказалось, машина идет не туда вовсе — и снова был поезд, и ссаживания, и борьба, и упрашивания, и даже женские улыбки на запыленных, измученных лицах.

Вера тоже улыбалась женской улыбкой, и ее иной раз пускали... Деньги потеряли всякую цену — за буханку хлеба она отдала кольцо... И все же, все же она доехала, она стоит, пыльная и оборванная, в родной хатке, обнимая мать, которая постарела, извелась, но еще узнаваема, еще темноглаза, еще бодра. Мать теперь одна: Женя еще в прошлом году вышла замуж и уехала в Ригу, а теперь нет вестей. Ужик воюет... Только они с матерью остались вдвоем, обнялись и плачут...

— Писем не было? — спрашивает Вера. Только телеграммы.

— От кого, от кого телеграммы? — мучится она, не умеет спросить. Только зачем здесь гроб?

Вера медленно приходит в себя. Мать уводит ее и укладывает в постель. Засыпает она мгновенно и спит до утра без снов.

17

Никогда еще Анна Савишна не была так близка со старшей дочерью, как в то военное время. Прежде она больше любила Женю. Теперь Вера стала ей опорой, радостью.

Есть люди, как планеты, светящие отраженным светом. И есть люди, как звезды, — у них собственный свет. Такие люди редки, а Вера как раз и была человек— звезда.

Никогда не унывала это само собой. Больше: из любых обстоятельств умела сделать шутку, спектакль. Жить было не на что, питались чем попало. Какие-то обсевки мучные сохранились на дне мешка, их смешивали с лебедой и пекли лепешки. За зеленоватый оттенок Вера их называла: «Мои изумруды». А когда в огороде поспела свекла и стало из чего варить борщ, «изумруды» сменились «рубинами»... А там Вера поступила кастеляншей в военный госпиталь, стала приносить зарплату, а главное, паек, и это было уже процветание.

— Мы процветаем с тобой, мамочка, правда?

— Правда, дочка, правда, — улыбалась Анна Савишна, умиленно узнавая в дочери отца, Платона Бутова. Только тот был не деловой, а Верочка — деловая.

В госпитале ей работалось хорошо, хоть и угнетала материальная ответственность. Белья много, за всем не углядишь. Когда пропадали вещи, Вера огорчалась, но ненадолго; бывает такой летний день: не в силах нахмуриться.

От Шунечки писем не было, это ее тревожило, но неунывание опять-таки побеждало: верила, что жив, вернется. В госпитале заводились у нее поклонники: сам главный был крепко неравнодушен. Идет Вера на работу, а он — петушком, петушком:

— Доброе утро, Вера Платоновна. Какая у вас улыбка прелестная. Сами вы, как доброе утро.

Верочка улыбается всеми белыми своими зубами, голубыми глазами, светлыми кудряшками-перманентом (остриглась, сделала завивку, при Шунечке не посмела бы...). И каждый человек, на которого эта улыбка падает, становится сразу добрей, веселей. Так ее и зовут на работе:

«Верочка — доброе утро».

И вдруг — неожиданная встреча, прямо подарок судьбы. Пришла в хирургию со стопкой белья, а там — новая врачиха, небольшая, светлоглазая, кудрявая, не первой молодости, но с ямочками на щеках. Вера взгляделась и ахнула:

— Маша!

— Верка! — заорала Маша. — Черт тебя возьми, ну и огромная ты стала! Глазам не верю. Подымите мне веки...

И ну — обниматься. И целоваться вовсю, благо у обеих губы не крашены.

Кое-как, среди объятий и ликования, расспросили друг друга: кто и как живет? Маша — военврач, сюда попала случайно, по назначению. Живет одна с сыном. Замуж не вышла. Сыну уже девять, большой парень.

— А где же тот... женатый?

— Пропал в мути жизни. А ты все еще со своим Шунчиком?

— Он воюет, — серьезно ответила Вера. — Писем нет.

— А, — неопределенно, но уважительно сказала Маша.

— Живешь-то где?

— Угол снимаю. Пустили нас с Вовкой. Спим на одной койке, велик, брыкается. А так — ничего. Главное, работы много.

— Ну, вот что я тебе скажу, — заявила Вера. — Брось этот свой угол. Будешь жить у меня. Сегодня же переезжай. Слышишь?

— Слышу, безумная, дай опомниться. Снова смех и объятия.

Вечером зашли на квартиру к Маше, где она снимала угол. В комнате — три койки и раскладушка. На раскладушке сидел старый дед, перебирая крупу, а на угловой койке — тоненький мальчик, похожий на Машу, только сейчас уже выше ее, что стало видно, когда он встал и вытянулся. На голове богатой шапкой — светлые кудри. Спинка — прямая, статная, гордая, на матовых щеках — множество родинок. Глаза зеленые, полные озорного, критического веселья. Красивый мальчик...

— Мама, есть подкрепление? — спросил он.

— Есть, есть.

Маша вынула из противогаса ломоть хлеба и дала его мальчику. Он так и впился в него зубами, до самого носа ушел в кусок. Вера и Маша с уважением смотрели, как он ест. Не пустое дело...

Когда ломоть был съеден до последней крошки, подобранной с одеяла, мальчик обратил внимание на гостью и поглядел на нее с вежливым любопытством.

— Вова, — сказала она, — собирайся, поедешь с мамой жить ко мне.

Мальчик глядел на нее во все глаза. Они были не совсем зеленые, скорей серые, зелеными казались от иронии.

— Ну, как ты на это смотришь? — спросила Маша.

— Положительно, — ответил мальчик.

Часа через два они со всем скарбом (а его у Маши набралось— таки достаточно, несмотря на ее нелюбовь к вещам) вошли в хату над обрывом.

— Мама, — сказала Вера, — это Маша Смолина, моя самая большая подруга, а это ее сынок Вова. Они будут у нас жить.

Надо отдать справедливость Анне Савишне: она не удивилась, ничего не спросила. Сказала только: Доброму гостю хозяин рад.

18

А жили! Как они прекрасно и радостно жили, несмотря на трудности, на войну. Кое-как разместились. Вовке сначала вместо кровати поставили расписной сундук с жар-птицами и богатырями («Какое-то королевское ложе», — сказал он не без удовольствия), накрыв его сверху периной. Но мальчик, деятельный и ночью, имел обыкновение видеть воинственные сны, сползал вместе с периной на пол. Поэтому решили, что будет спать на полу сразу, без пересадки. А Вера с Машей спали в одной кровати, валетом; Маша-то была невелика, много места не занимала, Верочкины же большие, веселые ноги доставали до самого изголовья; по утрам, просыпаясь, Маша их приветствовала: «Здравствуйте, ножки! Как спалось?» По поводу этих ножек, размер сороковой, было у них много смеху: рассказывали сказку про «Золушку наоборот», потерявшую хрустальный башмачок, который был велик всем девушкам в королевстве. Утром Маша с Верой уходили в госпиталь, а Вовка — в школу. В военное время учебой не переобременяли. Вернувшись, Вовка хозяйничал вместе с Анной Савишной, щепал лучину для самовара и между делом иронически ее просвещал. Впрочем, любил ее от души, называл «бабуля». Анна Савишна тоже его полюбила: чем-то он напоминал ей Ужика — верткой худобой, шутейными танцами (исполнял не без грации «танец обезьяны», прихлопывая себя ладонью сверху по кудрявой макушке). Конечно, сходство было неполное: Ужик был черен, Вовка — белокур, но это Анне Савишне не мешало ощущать его продолжением Ужика... Одно было горе — Вовка все время хотел есть, и накормить его досыта было вообще невозможно. Верочка с Машей приносили из госпиталя все, что могли: хлеб, кашу, суп, — он все съедал и все равно был голодный!

— Послушай, — сверкала на него глазами Маша, — это уже распущенность! Ел? Ел! Больше других? Больше других! Почему другие не голодные, а ты голодный?

— Особенность организма, — с деланной скромностью отвечал Вовка. — Человек не отвечает за свой организм.

— Я тебе покажу организм! — сердилась Маша. — Я вот тебе надаю по организму!

— Ребенок растет, — вступалась Анна Савишна, — ему вдвое больше против взрослого надо.

— Bravo, бабуля! — кричал Вовка и кидался ее целовать. Она отбивалась.

— От поцелуя уста не завянут! — кричал он из какой-то оперы...

Словом, жили голодно, но весело. Когда перепадала какая-нибудь шальная выдача, устраивали «пир Соломона» — жарили коржики на конопляном масле, чуя запах жареного, поводили носами. За столом Вера подкидывала Вовке коржик за коржиком, а он все не насыщался. Иногда она даже сердилась:

— Ирод ты, наказание мое! Будешь ты когда-нибудь сыт?

— Никогда! — отвечал Вовка.

...Маша с Верой жили как самые близкие родные, как сестры, и все у них было общее: и постель, и зарплата, и пайки, и сын, и бабушка... И общая работа в госпитале, порой тяжелая, но и отрадная. Маша, всегда жадная до операций, в мирное время хватавшаяся за каждую возможность резать, теперь, кажется, была сыта по горло. Однажды ночью, на дежурстве, ее разбудили, позвали оперировать. «Спасибо, я больше не хочу», — сказала она спросонок. Смеху было...

Все было бы ничего, если бы не положение на фронтах. Фронт надвигался неотвратно, наши оставляли за городом город, и скоро могла прийти очередь большого приморского города с хатой над обрывом, с чайками и ласточками, со свеклой в огороде, с призраком благополучия... Сначала ползли слухи, их опровергали как провокационные, а потом внезапно, без предупреждения, в госпитале объявили эвакуацию...

Тяжелым был этот день. Ехать — не ехать, вопроса не было: Маша — военнотружущая, при своей части, а Вера, естественно, с ней. Разумелось без слов, что поедет и Анна Савишна. Но она неожиданно отказалась:

— Нет, девушки, не поеду. Здесь жила с мужем, с Платоном Васильевичем, здесь его хоронила, здесь и помру...

— Мама, зачем тебе умирать? Ты у нас еще молодая... — А не помру, еще лучше. Я, может, по своей молодости

замуж собралась...

Так и не поехала. Вера догадывалась, в чем дело: в представлении Анны Савишны, пока кто-то тут еще оставался, был дом, было место, куда могли прийти письма от Жени, от Ужика, от Александра Ивановича... Было место, куда все они могли, при случае, вернуться...

19

Госпиталь эвакуировался на Урал. Сердце рвалось, когда прощались с матерью, — и у нее, и у них. Сколько в жизни прощаний, и все — на вокзалах, и каждый раз, рыдая, кричит паровоз, и кажется: кончено; но нет — не кончено. Вступают новые заботы, жизнь колесом начинает вертеться, и ты в том колесе, как белка, скачешь— скачешь, бежишь-бежишь... А там, смотришь, и жизнь прошла. Пстой, погляди, обернись: ты ведь не жил! Куда там...

Поезд вез раненых, белья не хватало, прачек не было, состав грохотал, паровоз дышал сажей, черные крупы летели в окна, пачкая, опять же, белье... Стирать — а где? Корыт нет, воды не хватает... Измучилась Вера за дорогу.

Приехали к новому месту работы. Маша с Верочкой опять поселились вместе. Дали им небольшую комнатку, бывшую кладовую, при госпитале: тут работаем, тут и живем. Жили ничего, боролись с трудностями. Вовка подрастал, уже подрабатывал, монтерил. Он вообще

любил ручную работу, стряпал, как заправская кухарка, — было бы из чего. В общем, жили — не унывали.

— Слушай, Вера, — сказала однажды Маша. — Знаешь, я опять забеременела.

— Боже мой! Этого еще не хватало! От кого же?

— Это не важно. В общем, человек. Не принц Уэльский.

— Ну, допустим, не принц. Меня интересует... Ну, насколько серьезны у вас отношения.

— А насколько. Отношений как таковых у нас нет.

— А как же тогда...

— А вот так. Темперамент, и все. Ты счастливая, у тебя нет темперамента.

— У меня есть, — сказала Вера и, как в юности, залилась краской через шею к плечам. — Ты забыла, я люблю своего мужа.

— Верно, забыла! Но, знаешь, тот темперамент, о котором можно забыть, вовсе и не темперамент...

Тут вошел Вовка, разговор пришлось прервать. Ночью, когда мальчик уже заснул, Вера и Маша шептались (на этот раз они легли не валетом, а голова к голове):

— Так как же ты будешь?

— Так и буду. Как все.

Может быть, еще не поздно?

— Поздно. Подвело военное время. Нет и нет, ни у кого нет. А спохватилась — поздно. Не везет чижик.

— Бедный чижик.

— Ничего, я еще почирикаю.

Чирикала-то Маша чирикала, а время шло. У нее стала меняться фигура, юбки не сходились в поясе. Вера давала ей свои, подвернув подол на целую ладонь. Вовка ничего не замечал. Он жил своей фантастической жизнью подростка: марки, стеклышки, астрономический кружок... Такие мелочи, как двойки или, скажем, фигура матери, его не интересовали.

— И все-таки его надо ввести в курс дела, — сказала Маша. — Не знаю, как к нему и подступиться...

— Хочешь, я ему скажу? — предложила Вера.

— Будь ангелом, скажи.

Вера улучила минуту. Вовка был трудноуловим сейчас весь в своих делах. Если не ест, то занят. Все же она его изловила.

— Вовус, — сказала она, — ты любишь маленьких детей? Он удивленно на нее посмотрел:

— Никогда об этом не задумывался.

— А ты задумайся.

Вовка честно попробовал и сказал:

— Ничего не выходит.

— Жаль. А что бы ты сказал, если б у нас в семье вдруг появился маленький ребенок? Вовка ужасно покраснел:

— У тебя, что ли, он родится? Вера тоже покраснела:

— Это не важно. У меня, не у меня, какая разница? Важно, как ты примешь этого ребенка?

— Великодушно, — ответил Вовус.

20

Ребенок — девочка — родился в конце зимы. Назвали ее Викторией. Тогда детей называли: Виктор, Виктория. В честь победы, которая уже приближалась...

Вера привезла из родильного дома Машу с дочкой. Никогда она еще не видела новорожденных и даже боялась этого. Маша развернула ребенка: Ты посмотри, Вера, до чего хороша! Вика, Викочка...

Вика лежала поперек койки и тупо ворочала лысой головенкой. На затылке, у еле обозначенной шеи, кудрявился темный пушок. Глазки-щелочки чуть видны из-под припухших век. А тонкие красные пальчики, в каких-то беловатых клочьях, словно пушинках слипшейся ваты, шевелятся судорожно, паучьими движениями, хватаясь за край пеленки, в поисках, может быть, избавления от этой напасти, именуемой жизнью... Вот открылся беззубый рот, непомерно большой и скошенный, и оттуда послышался даже не писк — шип...

Вера ужаснулась в душе, но взяла себя в руки и сказала, что ребенок очень хорош. Вовка стоял у окна полуотвернувшись и, согласно обещанию, был великодушен...

И вот в комнатухе, бывшей кладовой, где и прежде-то повернуться было негде, появилась новая жилища и всю ее заполнила собой. Спала она в бельевой корзине, завернутая в пеленки из списанного госпитального белья. Скоро обрела голос и заявляла о себе громогласно, особенно по ночам. Корзина стояла на двух табуретах у Машиного с Верой общего ложа. Маша-то крепко спала, а у Верочки сон был чуткий. Она просыпалась, толкала подругу:

— Опять плачет...

Маша бормотала невнятное.

— Мать ты или зверь? Ребенок плачет, а она спит. Вера вставала на колени, перелезала через Машу, брала

Вику на руки, если надо, перепеленывала. Маша спала, Вовка спал, а она, с ребенком на руках, ходила взад и вперед по маленькому кусочку пола и мурлыкала вполголоса:

Вот вспыхнуло утро, Румянятся воды...

Скоро они с Машей вообще поменялись местами на кровати. Теперь, заслышав Викино побряхтывание, готовое перейти в крик, Вера сразу просовывала руку в корзину, под ворсистое одеяльце (тоже из госпитальных, списанных) и начинала успокоительно похлопывать Вику по тощему задку. Ребенок кряхтел-кряхтел, всхныкивал и, не раскричавшись, засыпал. А Вера не спала, не вынимала руки из корзины: от скудного ребячьего тельца по руке вверх к сердцу шло умиление...

Постепенно Вика росла, белела, крепла, и ручки у нее были уже не красные, судорожные, а просто тоненькие, детские ручки, на которых при большом желании можно было разглядеть даже ямочки. Странными оставались только глаза: непомерно большие, загадочно серые, откуда-то из другого мира. Пеленали ее теперь уже не по плечи, а только до пояса, и спала она, закинув ручки вольно и мягко по обе стороны маленького лица.

Тем временем кончился Машин декретный отпуск. Она взяла очередной, кончился и этот — взяла за свой счет, начальство шло навстречу, но больше тянуть было невозможно. Решили отдать Вику в ясли. Девочка была уже большая, умная. Физически она, как почти все военные дети, развивалась плохо: уже давно было пора сидеть, а она все лежала. Но именно потому, что она лежала, в ней поражал какой-то недетский, даже не взрослый — старческий ум. При слове «ясли» она настораживалась, морщилась, а на глазах скапливались, не проливаясь, крупные слезы. И недаром: ясли ей не понравились. Попав туда, она сразу же начинала орать и орала, видимо, целый день, потому что нянечки, ко всему привыкшие, называли ее «Всего света крикса». Когда Вера за ней приходила, она цеплялась за ее плечи, руки, приникала к ее лицу нежномокрой щекой и вздрагивала, икала, переставая плакать. Через несколько дней она заболела. Маша взяла бюллетень по уходу на три дня, больше трех не давали... Обходились кой-как, Вовку не пускали в школу, и он, с трудом сохраняя великодушие, нянчил девочку, пеленал, шлепал:

— Опять ты ведешь себя неэтично.

А зима на Урале страшная, злобная. Вику уносили в ясли, закутав наподобие кочана капусты. Сквозь щель, оставленную для дыхания, слышался умный, сварливый крик. Он продолжался и в яслях, и по пути домой. А щель в одеяле обрастала инеем. Через два-три дня Вика заболела. Маша брала бюллетень, и так далее...

— Знаешь что, Маша, — сказала однажды Вера, — больше так жить нельзя. Вику из ясель надо забрать. Ребенок не приспособлен к общественному воспитанию.

— А кто же с ней будет сидеть?

— Придется мне. Из нас двоих одна должна быть вроде как отцом, кормильцем семьи, а другая — матерью, хозяйкой. Кому быть хозяйкой? Не тебе ли? — Ну нет. К тому же я военнообязанная. — Вот видишь.

— Вера, я не могу принять такой жертвы. Лишить тебя работы, людского общества, наконец, карьеры.

— Карьера моя блестящая, что и говорить. Из завхозов прямо в наркомы.

— А что? Ты и создана, чтобы быть наркомом. У тебя прямо — таки административный талант.

— Придется мой талант временно зарыть в землю...

Просто и весело, как все делала в жизни, Вера уволилась с работы. Главный из себя выходил, теряя такого завхоза, но Вера его уломала. Теперь она сидела дома, варила смеси для Вики, радовалась ее улыбкам, первому зубу, первым, еще невнятным, булькающим словам... Девочка начинала уже садиться; Вера протягивала ей два указательных пальца, и Вика, цепляясь за них, вся красная от натуги, совершала очередной подвиг...

С Вовкой (Вовусом) Вера жила душа в душу — кормила его, бранила, воспитывала — он охотно шел ей навстречу, воспитывался. С матерью его роднил и разобщал взбалмошный, вскидчивый нрав: тетя Вера была совсем на него не похожа, тем и хороша. Упрек у нее был со смехом, и похвала — со смехом, и милое имя «Вовус».

Материально им стало труднее (отпал Верин паек). Еды не хватало, кого-то надо было ограничить, но не Машу же ограничивать, работницу, главу семьи? Не Вовку? Не Вику же? Вера решительно ограничила саму себя. Через некоторое время она могла наблюдать «косметический эффект альтруизма», как сама себе говорила (Вера умела шутить и наедине с собой). Она стала совсем худой истройной, попрежнему ширококостой (куда же она, кость, денется?), но даже ноги, эти вечные толстые ноги, угнетавшие ее всю жизнь — ими ее дразнили в школе, ими она до слез огорчалась в юности (о господи, дай мне, дай мне тонкие ноги!), — даже эти ноги подались и построители необычайно. Вытягивая перед собой похудевшую ногу, она думала: «А понравится ли такая нога Шунечке?» — и сердце у нее замирало. Шунечка любил ее ноги, любил, став на колени, прижаться лицом и, наконец, немного помедлив, целоватьцеловать, от чего у нее начиналась прямо сердечная боль так было переполнено сердце, так перевернуто...

21

А война-то, война верными шагами шла к победе. Почти каждый день радио, красивым голосом Левитана, сообщало об освобождении новых городов. Вот-вот должны были освободить и ее, Верин родной город... И вот — освободили! Она шла по улице вечером. Музыка лилась из репродукторов, только что сообщивших радостную весть. Какой-то незнакомый мужчина восхищенно ей улыбнулся и сказал: «Само счастье на вашем лице». — «Да-да, я счастлива, сегодня освободили...» — она назвала имя своего родного города. Мужчина предложил зайти к нему выпить по этому поводу. «Нет, лучше возьмите ваше вино и пойдем ко мне». Пошли, пили, радовались — Маша, Вовус, Вика в коляске — Вика была в ладоши... незнакомец сперва был разочарован (вот как, в семейном кругу, кончилось его приключение!), но ушел очарованный, добрым знакомцем...

На другой день Вера послала телеграмму матери, всем существом надеясь, что она жива. И в самом деле, Анна Савишна оказалась жива. Вскоре пришло от нее письмо — недлинное, деловое. Очень коротко, как бы неохотно, мать писала о днях оккупации. Плохо было, голодно, кормились одной ботвой, свеклу и ту забрал немец. А главное, страшно — никак не угадаешь, что он, злодей, еще сделает. Молодых всех угнали на каторгу, а со старухи что взять? Зашли, постреляли по глечикам и ушли. Мельник, Иван Севастьяныч, сделался полицаем, ушел вместе с немцами, и что с ним дальше — неизвестно. А писем ни от кого не было ни от Ужика, ни от Женечки, ни от Александра Ивановича. Хата, слава богу, цела, огород засеяла, помогли добрые люди.

Верочка прочла письмо и так ясно себе представила родную хату с маками, что вся зашлась тоской по родине. Здесь, на Урале, все чужое, суровое. Лето короткое, куцее, даже самый жаркий день прошит холодом. А уж зима... Ребенка нельзя вынести.

— Знаешь, что я надумала, Маша? Возьму-ка я ребят и поеду туда, к маме.

— Ты с ума сошла.

Ничуть. Ребятам там будет славно. Покупаются в море, окрепнут. Поживем, оглядимся. А там, смотришь, и тебя выпишем... Что же, в конце концов, это было разумно. В начале лета Вера с Викой и Вовусом поехали к теплому морю...

Анна Савишна за годы разлуки поседела до белизны, но не согнулась. Вовка так к ней и ринулся: «Бабуля!» Вика сначала дичилась, а потом пошла на руки — уж больно у Анны Савишны были умелые, уютные руки, могли и ребенка держать, и «козу» делать, и мягко пощелкивать смуглыми пальцами, выделявая какую-то безмолвную плясовую... Хата была все та же, чисто побеленная внутри и снаружи, но дала глубокую трещину по южной стене, той, что к морю. Видно, не очень долго стоять этой хате... Кругом, в поселке, много разрушенных домов, кое— где на пепелищах торчат голые кирпичные трубы, но красноклювый аист на крыше соседнего дома твердо стоит на своем колесе и по-хозяйски клацает клювом. И чайки по— прежнему летают внизу, ласточки — вверху.

Вовус ошалел, опьянел от моря. Он кубарем скатывался с обрыва, оставляя на колючках ключья своих трусов, и сразу же бросался в воду. Плавать он не умел и, когда попадал в яму, барахтался, пускал пузыри, но благодатная соленая вода сама его из себя выталкивала. Скоро он как-то сам собой научился плавать, правда, по— девчачьи: надувал щеки, выпучивал глаза и неумеренно бил ногами — чем шумнее, тем, ему казалось, быстрее он плывет. Вера, сама плававшая по-мужски, саженками, очень над ним смеялась, но учиться он не хотел.

Маленькая Вика в пузырячатом платьице, недавно научившаяся ходить, на пляже была неустойчива, то и дело падала, печатая в песке неглубокую ямку. Ее маленькое лицо с огромными, теньевыми глазами было прекрасно. Вера раздевала девочку догола, брала на руки и несла к воде, нежно страдая от прикосновения хрупкого прохладного тельца. У самой кромки воды она ставила Вику на песочек. Небольшая волна приходила, вспухала, стеклянно круглилась, рушилась, отступала. Когда волна рушилась, Вика говорила «бух»...

Вера любила ходить с детьми туда, где она впервые встретила Шунечку. Вот из— за того камня он вышел, прижал к себе, сказал «моя». Где он сейчас — неизвестно. А она, через четырнадцать лет, снова здесь, с двумя детьми... Впрочем, образ Шунечки с годами как-то тускнел, выцветал; сама себе боясь в этом признаться, она его забывала. Маша писала, посылала деньги, но на хозяйство, как водится, их не хватало. Вера устроилась разнорабочей в строительную контору, где ничего не строили, а пока разбирали развалины, добывали кирпич. Вера в брезентовой робе, в больших рукавицах, вся осыпанная розовой кирпичной пылью, работала усердно. А из-под развалин возникали неожиданные вещи: книги с каменно-слипшимися, уже нерасторжимыми страницами, обломки мягкой мебели, кастрюля, валенок... Однажды Вера нашла целый рояль, точнее — пианино. Бригадир хотел было его сжечь с другим мусором, но Вере стало жаль инструмент, как живого, смерти обреченного человека. Она сговорила со стариком водителем самосвала, и он за четвертинку отвез пианино к ней в хату. Так в Верином доме поселился еще один жилец, и ему нашлось место. Звали его «Найденыш». Он смиренно стоял в углу, есть не просил и даже, пожалуй, украшал хату. Разбитую крышку Вера починила, даже отполировала, и Найденыш вовсе стал не дурен. Одно было плохо: он имел дурную привычку стонать по ночам. «Ничего, другие храпят, и их за это из дому не гонят!» — говорила Вера. В доме никто на рояле играть не умел, и все же Найденыш не стоял без дела: иной раз Вовка подбирал на нем одним пальцем своего сочинения «Обезьяний марш»; иногда на вертящийся табурет садилась сама Вера и, безбожно перевирая мелодию, играла заветный романс; а однажды, придя домой, она застала за инструментом саму Анну Савишну. Старушка сидела, низко согнувшись над клавишами, и, ударяя пальцем, как коричневым клювом, тоже что-то наигрывала... Увидев дочь, она

смутилась и поспешила уйти...

22

Близилась осень, пора было думать о возвращении. Вере вовсе этого не хотелось: здесь и зима была мягче, и жизнь чуть-чуть полегче. Кое-что давал огород, очень много южное солнце. Уголь на зиму обещали дать в стройконторе. Вера написала Маше, советуя оставить детей на зиму, обещала отдать Вовку в хорошую школу и сама следить за его занятиями. Маша отвечала смятенно и коротко: она сама еще не решила, что будет делать, приглашают ее в разные города, на хорошие условия, но она сама ни в чем не уверена. Между строк Вера прочла, что опять в жизни Маши появился мужчина, и опять, видно, не принц Уэльский: о счастливом будущем речи не было, только мелькнуло в одном месте «проклятая любовь». Вера вздохнула, пожалев от всей души бедную Машу с ее темпераментом. Ей-то самой темперамент не досаждал. Хотелось, конечно, быть любимой, слушать пламенные слова, но с этим можно было подождать до мирного времени, когда вернется Шунечка... А пока она охотно и даже весело переносила свою холостяцкую жизнь. Вокруг нее все время роились мужчины, но больше, как она выражалась, «нетоварные» — старички, инвалиды. Ясно: все здоровое, молодое было на фронте. Вера с ее светлым лицом, белозубым смехом была для «нетоварных» как эликсир молодости: они приободрились, припускались за ней, шутили, заигрывали. На шутки и заигрывания она отвечала охотно, но дальше дело не шло. Впрочем, дальше, видно, не очень стремились и сами «нетоварные»...

Настала зима с ледяными ветрами и ревушим, бешеным морем. Во время шторма волны громово бились о скалы; брызги взлетали до края обрыва и, случалось, достигали окон. А в хате было тепло, уютно: обещанный уголь Вере дали. Кот, названный в честь того, первого, Кузьмой-вторым, дремал во впадине койки. Он был неплох, но ленив ordinarily, не рекордсмен. «Далеко тебе до Кузьмы-первого», — говорила Вера. Вовус ходил в школу, хорошо учился, но дерзил; говорят ему: «Выйди к доске», а он в ответ: «А что такое доска?» Веру вызывали в школу: «Ваш сын ведет себя демонстративно, выставляет на вид свое высокое развитие».

Послушай, Вовус, — говорила Вера, — ну чего ты меня срамишь? Почему тебе нравится так безвкусно валять дурака?

— Очевидно, по недостатку ума.

— Хорошо, что ты это понимаешь. Какой-то французский философ сказал: «На память свою жалуются всякий, на ум — никто».

— Как это? Повтори, — интересовался Вовус. Верины нотации всегда были интересны, стоило их послушать. Нет, она не баловала мальчишку — просто понимала, чем он живет... А маленькая Вика — до чего же она была уморительна! Крохотный гномик с огромными, темно-серыми, ночными глазами (утонуть можно было в таких глазах!), на тоненьких, неуверенных ножках. Круглая головка вся в мелко— мелко вьющихся русых кудрях; они начинались на выпуклом голубом лбу очень высоко, оставляя впечатление лысоватости — зато такие пышные, такие пенно— воздушные, что не было возможности их причесать: сразу же из-под щетки они крутились и вздыбливались...

А уж умна! Речь как у взрослого человека. Когда Вика говорила: «Оказывается, суп простыл» или: «Я не это имела в виду», Анна Савишна потихоньку крестилась...

Со старшим братом у Вики была не просто любовь, а роман в духе, пожалуй, Кнута Гамсуна —

со взаимными счетами и обидами, с горькой, непрощающей нежностью... Когда в чем-то провинившаяся Вика подходила к Вовусу, явно заигрывая, он говорил ей: «Испепелю!» И она бросалась бежать, подскакивая, с криком: «Не пепеляй меня, не пепеляй!» — как бы уносимая этим криком... Ну, а когда Вовус являлся с повинной — тут уже играла в равнодушие Вика, и прекрасно играла: обращенная к брату щека, маленькое ухо, полузакрытый глаз казались каменными...

23

В конце ноября пришло письмо от Александра Ивановича. Писал он коротко, сообщал, что жив, был в плену, бежал, год добирался на родину, потом проходил проверку, в результате которой полностью очищен от всех подозрений. В настоящее время находится в госпитале (полевая почта номер такой-то), лечится успешно, рассчитывает в скором времени за нею приехать («если ты у мамы, как я надеюсь и как тебе велел»). Подписано сухо: «Целую, Саша».

— Мама, мама, — кричала Вера, — что случилось, ты только подумай, от Шунечки письмо!

Анна Савишна кинулась на зов, роняя платок с головы, крестясь, цепляя очки ниткой за ухо:

— Ну-ка, ну-ка!

Обе читали письмо — голова к голове, — перечитывали, ахали, смеялись и плакали, плакали и смеялись.

— — Это что же, он пишет, за подозрения такие? Ну, какая ты, мама! Всех, кто в плену был, проверяют: не завербован ли?

— И его?! Такой человек!

— И его. Всех проверять надо. Но, слава богу, все кончилось хорошо, смотри: «очищен»! Очищен, жив, здоров, скоро приедет — какое счастье!

— Больно коротко пишет.

— Экая ты, мама! Мало ли какое может быть у него на душе? Откуда он знает, как я без него жила? Увидимся все будет хорошо. Главное — жив!

— Теперь и от Женечки надо ждать. И от Ужика. От всех придет.

Вера сразу же написала ответ Александру Ивановичу. Запятых было в нем великое множество, и слез, которыми она щедро окропила бумагу. Писала, что живет хорошо, ждет его, любит. О детях из осторожности умолчала. Но, видно, все же плохо написала, потому что ответа не было. Послала еще письмо — нет ответа. Может быть, зря написала, что живет хорошо? Мало ли как можно это понять?

И вдруг, нежданно-негаданно, как снег на голову, явился он сам. Приехал вечером. Вера пришла с работы, в сенях почуяла: пахнет табаком, побледнела, прислонилась виском к косяку. Услышала голос: и точно, он. Разговаривал Александр Иванович с мамой, вернее, мама что-то ему объясняла, как бы оправдываясь, а он нападал — сварливо, требовательно. Вера споткнулась о ведро — оно покачнулось, брякнуло. Руки у нее были холодные-холодные.

— Кто-то пришел, — сказала мать. — Как будто Верочка. Отворилась дверь, и из хаты в сенцы, из света в тень шагнул незнакомый худой человек. Узнавание было мучительным. В человеке

проступал, пробивался Шунечка и не мог пробиться. Вера была в рабочей брезентовой робе грязна, страшна. Ужасно было брезгливое сожаление в глазах человека.

— Ну, здравствуй. — Он поцеловал ее в щеку, как бы выбирая место почище.

— Здравствуй...

Он оглядывал брезентовую робу, потертую на сгибах, запорошенную кирпичной пылью.

— Хороша... Рабочий класс. Ничего, мы с этим покончим. Ты у меня будешь в панбархате ходить. Собирайся, едем. — Куда?

Он назвал новое место назначения — тыловой городок в Западной Сибири.

— Шунечка, послушай, я не могу так сразу... У меня дети. Он косо усмехнулся:

— Спасибо. Мне уже об этом сообщили. Обрадовали, нечего сказать. От таких новостей кондрашка может хватить. Приехал к жене, а у нее — двое...

— Это же не мои...

— Знаю. А то, думаешь, я бы с тобой разговаривал? Пришел, увидел и ушел.

— Шунечка...

— Молчи, все ясно. Едешь со мной. Дети — не сироты, у них мать есть. Пусть приезжает за ними, берет к себе.

— Она так сразу не может. У нее работа.

— А у меня служба. Никогда не работал, всегда служил.

— Шунечка...

— Сказал — и все.

На эту формулу Вера привыкла отвечать послушанием; так и на этот раз. Послала Маше телеграмму, получила ответ: «Еду». Дождаться ее не пришлось: Александр Иванович назначил отъезд через два дня и был неумолим.

— Мама, милая, — плакала Вера, — жизнью тебя умоляю: береги детей. Я же не виновата, видишь, как получилось.

Анна Савишна была суха, строга, еле шевелила губами:

— Будь покойна. Мне они не чужие.

Прощание с Вовусом, с Викой... И опять стук колес будь он проклят! — сухой, разрывающий, разлучающий стук колес.

24

Назначение полковник Ларичев получил самое для него смехотворное: начальником КЭО (квартирно-эксплуатационного отдела) в военном училище. Удар был по его самолюбию тяжел.

Он, кадровый военный, боевой командир, командовавший полком, теперь был назначен тряпкой, затычкой, козлом отпущения...

В училище было четыре корпуса: два учебных, два жилых, и все — в аварийном состоянии: балки подгнили, крыши текли, штукатурка обваливалась. Людей не было, средств на ремонт не отпускали, и все-таки каждый требовал с него, с начальника КЭО.

Вызывал его, скажем, начальник училища:

— Александр Иванович, опять у нас в актовом зале потолок валится. Побойся бога, так же нельзя. Людей покалечит, а кому отвечать? Сидеть-то, мил друг, не тебе, а мне. Начальник училища был старый, выдавший виды полковник с мужицкой хитрецей в небольших глазах под припухшими веками. Сейчас Ларичева все раздражало: и мужицкая хитреца, и глаза небольшие.

Товарищ полковник, — отвечал он, внутренне кипя пузырями, — я уже вам докладывал: ремонт произвести невозможно, материалов нет, людей нет. Начальник тыла солдат не дает.

— Что значит — «не дает»? А ты требуй.

— Он мне не подчинен. Это вы можете ему приказывать, а не я.

— Приказывать, приказывать... Такие дела, братец мой, на приказах не строятся. Ты начальник КЭО, хозяйственник, должен понимать, как делаются дела. Закон здесь один: ты — мне, я — тебе. Материалов нет? Извернись, изпод земли достань материалы. Найди нужного человека, дружбу заведи, угости по—приятельски... Да что мне тебя учить? Сам знаешь.

— Ничего такого я не знаю и знать не хочу.

— Экие мы гордые. С такой гордостью в хозяйственники не идут.

— Я в хозяйственники, как вам известно, не просился.

— Это меня не касается. А насчет потолка в актовом зале — даю сроку одну неделю. Не отремонтируешь взыщу, не прогневайся.

— Разрешите идти? — спрашивал Ларичев, плохо видя сквозь дымку бессильного гнева.

— Иди. Через неделю доложишь о выполнении. Крутись.

И Ларичев шел крутиться. Изворачиваться. Искать нужного человека. Заводить с ним дружбу. Угощать его по-приятельски, черт бы его побрал. Он научился раздобывать спирт, якобы для промывки приборов, разводить водой, вливать в ненавистные глотки. Пьянел новоявленный приятель, пьянел сам Ларичев, разомлевал приятель, но не разомлевал Ларичев. Разомлевший приятель хлопал его по плечу, обещал помочь...

И все-таки начальству нельзя было угодить. Хвост вытащишь — нос увязнет. Опять звонок, опять тревога:

— Товарищ полковник, в главном корпусе трубу прорвало, лаборатории заливают...

— А я при чем? Звоните дежурному слесарю.

— Уже звонили, его на месте нет.

— А, черт!

Ларичев шел проверять. И в самом деле — дежурного слесаря— водопроводчика на месте не было. Он, как утверждала ночная уборщица, запил и уже с утра такое намерение имел. Ларичев посылал техника-смотрителя к нему на дом. Слесарь доставлялся, но в состоянии, непригодном ни для какой работы. Второй слесарь, оказывается, уехал самовольно в деревню на несколько дней. Выгнать бы обоих к черту, да где сейчас найдешь замену? Начинались звонки, поиски нужного умельца, знакомого с тайнами еще дореволюционной постройки, а вода тем временем хлестала, и все уборщицы, во главе с техником-смотрителем, собирали ее тряпками...

Наутро новый разговор с начальником училища. В гневе он становился официален, переходил на «вы».

— Опять, товарищ полковник, по вашей вине авария. До каких пор можно терпеть? Предупреждаю вас о неполном служебном соответствии.

— Разрешите доложить, товарищ полковник: слесарь Круглов хронически напивается, прогуливает. Вчера ушел с дежурства, никому не сказав.

— Так взыщите с него. Отдайте под суд.

— Легко сказать: под суд. А где я возьму другого?

— Это ваше дело. За пьянство подчиненных отвечает начальник. Вы будете пьянствовать — отвечу я. Но, заметьте, мои подчиненные не пьянствуют.

— Разрешите идти?

— Идите.

25

Потолок был низок, комната приземиста и походила на ящик комода. Впервые за долгие годы Вера с Александром Ивановичем жили в одной комнате, спали в одной кровати — другую просто негде было поставить. Кровать была узковата, Вера боялась пошевелинуться. Рядом с нею спал Александр Иванович, горько нахмуренный даже во сне. Иногда он мучительно храпел, метался, скрипел зубами какие-то кошмары его преследовали. Внезапно просыпаясь, он вскрикивал и не сразу приходил в себя. Вера понимала, что он глубоко, до боли сердечной, обижен своим назначением, чертовой этой должностью, на которой или быть жуликом, или всегда виноватым. Когда по радио гремели салюты и голос диктора сообщал о новых победах, лицо Ларичева омрачалось: не его это были победы, не его дело... Его дело — крутиться ужом, исхитряться, добывать, обеспечивать. Несколько раз он подавал рапорта, прося о переводе в действующую армию — кем угодно, хоть солдатом, — и всегда получал отказ. Начальство пожимало плечами: почему человек не может честно работать на том месте, куда его назначили? Вечно что-то нужно этому Ларичеву. Деловых качеств — ноль, а сомнения — уйма.

Он не прижился, не приработался на новом месте. Он не хотел ничем обзаводиться. Вера, со своей всегдашней ловкой приспособляемостью, и здесь готова была, почти ни на чем, создать, украсить семейный угол. Нет, ему этого не было нужно. Заметив на стене коврик, закрывавший трещину, он сказал «не надо» и коврик сорвал. Вера поняла и больше ничего не затевала. Жила, притаившись, стряпала в углу за занавеской на керосинке, которая, чуть недоглядишь,

начинала коптить. Шунечка приходил в разное время, но неизменно мрачный, равнодушно съедал обед и, поблагодарив жену казенным поцелуем в самую середину щеки, уходил снова. А она оставалась одна со своими мыслями. Только еще тридцать два года, тридцать третий, а жизнь прожита. Остались одни воспоминания. Как-то ночью ей приснилось, что на кровати рядом с нею лежит Вика — не теперешняя, а грудная, маленькое тельце в сгибе локтя, цепочка выпуклых позвонков, запах легких, пушистых, недавно мытых волос. Вера была счастлива, отлично понимала, что спит, что сон этот блаженен и сейчас кончится. И в самом деле, проснулась — Вики не было, рядом лежал Шунечка; «Но я же его люблю?» — спросила она себя и с ужасом поняла, что разлюбляет, вот-вот разлюбит. Так и случилось бы, если бы не его болезнь.

Однажды вечером Александр Иванович пришел весь красный, встрепанный, с блестящими глазами и ужинать не стал.

— Шунечка, ты болен?

— Ерунда. Здоров как бык, просто устал. Ты мне постели, лягу.

Вера разобрала постель. Тем временем он заснул на стуле, в неловкой позе, раскрыв рот.

— Шунечка, постель готова, можно ложиться.

— А, что? — вскинулся он. — Да, да. — И снова закрыл глаза.

Вера стянула с него сапоги, гимнастерку, кое-как, поддерживая валяющуюся голову, довела до кровати. Он был весь горячий и бормотал:

— Оставьте меня в покое. Вы, все, неужели нельзя оставить человека в покое?

Рухнул в постель, поджав колени, застучал зубами. Вера накрыла его одеялом, позвонила в санчасть, вызвала дежурного врача. Явилась миловидная дамочка лет тридцати с модной, высокой спереди, прической и огромными, накладными плечами, распиравшими изнутри халат. Выслушивала она больного, словно бы с ним кокетничая и прядая в сторону, как нервная лошадь.

— Двусторонняя пневмония. Сейчас мы его госпитализируем.

Она позвонила в санслужбу — машины не было. В госпиталь — не было места...

— Я умею ходить за больными, честное слово умею, сказала Вера.

— В данном случае я — за госпитализацию. Но, поскольку места нет...

Ушла, оставив на столе рецепт: сульфидин. В то время это было лекарство редкое, новое...

Как она бежала в аптеку за сульфидином... Как была черна ночь, как ярко звезды, как тверда и звонка под ногами земля... Бежала, задыхаясь, моля: только был бы жив, только бы не умер... Сульфидина в аптеке не было, в другой — тоже. Нигде не было сульфидина. Ночь была черна, как уголь, он умирал. «Дайте мне что-нибудь взамен сульфидина, ну дайте же, дайте, у меня муж умирает». Девушка, похожая лицом на Машу, сказала: «Подождите немного». И вынесла сульфидин. Вера хотела поцеловать ей руку, та не дала, помахала тонкими пальчиками... Домой, домой... Шунечка лежал по-прежнему красный, дышал тяжело. Вера давала ему сульфидин — вялый рот не хотел закрываться, струйка воды стекала по подбородку... Горячий,

такой горячий... Она сидела рядом с кроватью, держа его за руку, и молилась, как молятся неверующие, обращаясь по детской привычке к богу и спохватываясь, что его нет... Но невозможно, чтобы не было совсем ничего, никакой инстанции, куда можно обратиться, выпросить, вымолить, так вот, эта инстанция, сделай так, чтобы он был жив, я же люблю его, люблю.

Так просидела она до утра. Жар немного спал. Александр Иванович очнулся:

— Верочка, ты? В чем дело? Почему не спишь?

— Шунечка, милый, ты болен, я сульфидин достала, теперь тебе лучше.

— А, сульфидин. Что у меня?

— Двусторонняя пневмония. — Я не умру. Дай руку.

Она дала ему руку. Он стиснул ее влажными, вялыми пальцами и сказал:

— Ты моя радость. Вера заплакала.

— Верочка, любимая, ты плачешь? Ты меня любишь?

— Ну конечно же, глупый, родной.

Вот тебе и комната с низким потолком, похожая на ящик комода. Боже мой, любовь.

Вера не отдала мужа в госпиталь, ходила за ним сама банки, горчичники, даже уколы, всему выучилась. Шунечка, больной, слабый, потный, был нежен и зависим, как малое дитя, капризничал, целовал ей руки, не хотел никуда ее отпускать — даже в аптеку. «Ну, так и быть, иди, только приходи скорей». Он еще был в опасности — врачи головами качали, советовали все же госпиталь. «Нет», — говорил Александр Иванович («Ну, куда же я от тебя», — добавлял он ей наедине).

Никогда еще не были они так близки. Шунечка стал сентиментален, многоречив, не жалел слов любви, не боялся быть слабым и вздорным. То и дело припадал лицом к Вериной руке — всей своей небритостью, немолодостью, шершавостью припадал. Стал откровенным, будто прорвало в нем какие-то шлюзы. Рассказывал о своем побеге из плена, о долгом пути домой, опасном, голодном, вшивом, полном страшных и радостных встреч — среди радостных была встреча с женщиной, приютившей и полюбившей его; с этой женщиной он чуть навсегда не остался, но «вспомнил твои глаза и ушел». Рассказывал о проверке, о реабилитации, о нелепом своем назначении, оскорбительном для него, старого командира, о дрызгах квартирно—эксплуатационной части; говорил, кипя, негодуя, порой матерясь, забывая, что перед ним женщина...

А болезнь отступала, по мере того как приближалась весна. Воробьи орали на подоконнике. Солнце каждый день заглядывало в комнату, похожую на ящик комода. Радужно светились шерстинки казенного одеяла. По радио гремели салюты — война шла к победному концу. Шунечка оживал, креп, становился молчаливее, суше; Вера радовалась: это жизнь... И вот наконец Девятое мая — Победа...

Весь городок высыпал на улицы, уминая калошами еще не просохшую ярко-черную грязь. Сверкало солнце. Нежно-зеленые, еще нераскрытые почки дымом оведали деревья. В голубизне неба неслись облака, подпрыгивая от возбуждения. Ветер гнал и трепал, почти

срывая с древков, красные флаги. Играл духовой оркестр. Люди целовались, обнимались, плакали.

В этот день полковник Ларичев впервые после болезни вышел на улицу, опираясь на руку жены. Он был бледен, чисто выбрит, подтянут, в ярко начищенных сапогах, четко отвечал на приветствия. А Вера плакала откровенно и радостно, музыка ее так и мотала, так и раскачивала... Хотелось и танцевать, и целовать людей, и размахивать флагом...

Немедленно прекрати, на нас люди смотрят, — тихо и яростно сказал Александр Иванович. — Приведи себя в порядок.

Вера поспешно стала утирать слезы туго скатанным в шарик, давно уже мокрым платком. И по тому взгляду, который Александр Иванович кинул на этот комочек, она поняла, что с нежностями покончено...

Да, еще там, в городке, покончено было с нежностями. А дальше, здесь, — все суше, все суровее...

26

Вере снился чудесный сон, будто они с Шунечкой, взявшись за руки, идут по пляжу. Солнце сияет, рыбы прыгают, маленькие крабы боком-боком бегут к воде. Глаза у Шунечки полны любви, над глазами — соболиные брови...

— Слава богу, ты жив, не умер.

— Нет, я умер, но теперь проснулся и жив.

— Смотри, береги себя, будь осторожен, а то опять умрешь.

Резко закричала чайка. Нет, это не чайка кричала, это она сама. Где ты? Шунечка исчез. «Не пропадай, не умирай!» — кричала она и мучилась.

— Вера, Вера, говорил женский голос, — да проснись же.

Вера Платоновна открыла глаза. Рядом сидела Маша Смолина — худенькая, немолодая, усатая.

— Машенька! — Вера кинулась ей на шею, разумеется плача.

— Будет, будет...

Маша оглаживала, хлопывала ее спину.

— Машенька, ты знаешь...

— Все знаю. Прими валерьянки.

Анна Савишна принесла пузырек. Маша накапала лекарство. Вера проглотила — горько, хорошо. Как она оказалась в своей постели? Ведь сидела у гроба. Вспомнила, что в гробу Шунечка, и опять начала рыдать, икая и взвизгивая.

— Ну, вот что, — сказала Маша, — даю тебе десять минут, чтобы прийти в себя. До чего распустилась — стыдно глядеть.

Грубые эти слова почему-то подействовали на Веру, ей стало легче.

Хоронили Александра Ивановича с почетом, с музыкой (играл духовой оркестр). На красных подушечках несли ордена, медали. Откуда-то взялись старые сослуживцы, знавшие Ларичева еще до войны. Над могилой говорились речи. «Он был отличником боевой и политической подготовки», — плача говорил принаряженный отставник с орденами в три ряда на широкой груди. Краснообтянутый гроб, кренясь, опустился в яму. На веревках, на четырех веревках его опускали, да так неловко, ему же неудобно там, в гробу...

«Бросьте», — сказал кто-то и сунул ей в руку комок земли. Она бросила, комок подпрыгнул на красной крышке. Дальше еще и еще комки, и вот уже гроб закидан, и вот уже вырос холмик, и вот уже пирамидка со звездой установлена во главе холмика. Все... Пойдите, как же можно так быстро? Дальше — поминки. Гостей собралось множество. Вера и не всех знала в лицо. Хозяйничала Анна Савишна. Было странно и даже как-то приятно сидеть этак, гостией в собственном доме. Вера не плакала, даже улыбалась — сказывалась долголетняя выучка: люди в доме — улыбайся. Маша поглядывала на нее одобрительно, кивая кудрявой седеющей головой. Гости — скорей неодобрительно. Только что мужа похоронила, а зубы скалит. По правилам вдове полагалось рыдать, падать в обморок и быть уносимой в соседнюю комнату сочувствующими друзьями... Гости ушли. Заснула как каменная. Утром проснулась под чирикание птиц. ... — Знаешь что, мать моя, — сказала Маша Смолина, — пора тебе опомниться. Погоревала, и хватит. О жизни надо подумать. Она сидела и курила, заложив ногу на ногу, далеко отводя папиросу в пряменьких, неухоженных пальцах, другой рукою отмахивая дым. — Что ты собираешься делать? — Не знаю... Военкомат предлагает путевку в санаторий. — Ну что ж, поезжай, отдохни. А потом? Что ты будешь делать дальше, всю жизнь? — Моя жизнь кончена, — с надрывом сказала Вера. — Дурища! Не узнаю тебя — до чего же ты омещанилась. Есть такая формулировка: «По случаю потери кормильца». Терпеть ее не могу! Каждый сам себе кормилец. И ты тоже. А жизнь твоя не кончена, только начинается. Вера махнула рукой. — Не махай! От меня не отмахнешься. Не оставлю тебя в покое, так и знай. Пенсии тебе не дадут, сорок пять лет — не старость. Придется тебе, матушка, идти работать. — Бог с тобой, что я могу, что умею? Столько уж лет не работала... — Во-первых, ты работала, хотя и на глупой, общественно бесполезной ниве: обслуживала мужа, содержала дом. Во-вторых, если надо, всему научишься. — Старая я уже...

— Врешь! Я постарше тебя, а все молодая. Придешь в себя, расскажу..

— Опять не принц?

— Вот именно. Но речь не обо мне, о тебе. Я тебя, матушка, на работу устрою.

— Ну что же, устраивай.

Легче стало — опять в чьей-то воле.

— А ну-ка покажи свое поместье, — сказала Маша. — Помнится, много тут было лишнего. Со многим придется тебе расстаться, если хочешь жить человеком.

Вышли. Поздняя весна, плодовые деревья в неистовом цвету. Наложённых, любовно расчесанных грядках — побеги овощей. Стройными рядами — подвязанные к кольям виноградные лозы. Цветы. Из зеленых фонтанчиков остроконечных листьев, наклонясь в разные стороны, глядят грациозные нарциссы. Голландские тюльпаны — красные, розовые, желтые — — горделиво высятся на своих длинных ногах. Кое-кто из них полосат и гордится особо перед другими. Жемчужинками на закрученных стеблях — еще не расцветшие ландыши.

— Это все тебе нужно? Такой сад, огород?

— Конечно, нужно. Как же без этого?

— А так. Без чего-то обычно легче, чем с ним. Человек — путешественник, должен жить налегке.

— Тебе легко говорить. Ты — дикая, а я домашняя.

— Возможен разумный компромисс.

— Ну, цветы у меня всегда будут.

— Пусть будут. Цветы разрешаю.

Пошли дальше. За сетчатой оградой бродят куры, встряхивая алыми гребнями, важные, ищут червей.

— И эти тебе нужны? — спросила Маша.

— Эти, пожалуй, не нужны.

— Уже прогресс.

Кот Кузьма (кажется, четвертый) вышел поразмяться во двор. Он жмурится, потягивается, отставляя взад и вперед выпрямленные лапы. Пес-полукровка, по имени Куцый, кинулся им навстречу, неистово виляя хвостом. Лицо его выражает безграничную преданность, он тычется Вере в колени, предлагает свою любовь.

— И эти, по-твоему, не нужны? Куцый, Кузьма?

— Эти пускай будут. Они личности.

— А для меня каждое дерево личность.

— Это уж ты загнула.

Дошли до середины двора. Там, над большим деревянным столом на чугунных ножках, раскинуло руки дерево. Вера остановилась, задумалась, заморгала глазами...

— Ну, ну, — сердито сказала Маша, — только без слез.

— Это грецкий орех.

— Не вижу причины плакать.

27

Вскоре после конца войны полковник Ларичев демобилизовался, вышел на пенсию и, как многие отставники, решил строиться. После долгих хлопот дали ему участок земли на окраине того самого южного города, где родилась и росла Вера Платоновна, где и теперь еще жила ее мать. Ужик с войны не вернулся, и эта безвестная гибель вконец состарила Анну Савишну, согнула ее статную спину, обвела глаза темными тенями, похожими на выцветшие синяки. Слава богу, хоть Женечка нашлась, прислала письмо: первый муж погиб, долго бедствовала,

скиталась (об этом темно), теперь замужем за другим. Живет в Москве, муж большой человек, старше ее на двадцать лет, разумеется, ее обожает, прямо на руках носит. Квартира, обстановка — все было бы хорошо, если б не прежняя семья, которой надо помогать. А почему — неизвестно: дети уже взрослые, жена пожилая, зачем ей на старости лет туалеты, курорты? Семен (это муж) очень широкий, отдает туда чуть ли не половину зарплаты, так что приходится самим себе отказывать. Обещала приехать, но точного срока не называла. Извинялась, что денег пока не шлет. Анна Савишна написала в ответ, что ничего ей не нужно, пусть Женя не беспокоится. Та и не беспокоилась, потому что о деньгах разговору больше не заходило. Анна Савишна, конечно, скучала по Женечке, но как-то отодвинулась от нее младшая, прежде любимая дочка со своими черными, куда-то плывущими глазами, с губастым, пухлым, обиженным ртом. Гораздо ближе стала с годами старшая, Верочка. Как они рухнули друг другу в объятия, встретившись после войны в старой хате у крутого обрыва! «Мама, мама!» — «Дочка, дочка!» — только и всего... Так и остались — ближе всех. Много-то не говорили, ни о чем не расспрашивали, все и так ясно. Каждая чуяла, что у другой в душе. Анна Савишна нутром поняла сложную Верочкину судьбу, огорчалась, что дочь подурнела, постарела (это в тридцать четыре-то года!), понимала ее любовное рабство, жалела ее: «Ничего, Верочка, я тебя откормлю!» — и плакала.

Участок, выделенный под строительство дома отставному полковнику Ларичеву, был огромный, неправильной формы урезанный четырехугольник — пустырь пустырем: ни деревца на нем, ни кустика, одна полынь, бурьян и битый кирпич. Вера, глянув на участок, даже пала духом (это она-то!) — так было все здесь неуютно, неприкаянно. Холодное море сурово синело вдали (была поздняя осень), ветер гнал через участок клубки перекасти-поля, — казалось, эти клубки, сцепившись, ссорятся. Ни шалаша, ни будочки — спрятаться от ветра. Но она знала: раз Шунечка затеял строиться, не отступит. Денег на строительство не было. Ларичев раздобыл долгосрочный кредит, получил разрешение разобрать на кирпич пару разрушенных зданий — не так далеко от участка, но и не так близко.

Начались работы. Жить было негде; идею поселиться у матери Александр Иванович круто отверг. Поставили, тут же на участке, дощатую будку-временку с земляным полом, с чугунной печкой; когда ее топили, она сурово калилась малиновым боком с беловатым пятном посередине. На этой печке Вера готовила немудреную трудных этих времен еду, памятуя, что обед в доме должен быть каждый день. Печку топили щепой, мусором, рваным толем. Дымила она нещадно, особенно при западном ветре, донья кастрюль были бархатные от сажи. Иногда Вера собирала кухонную посуду в мешок и шла к морю. На берегу было пустынно, холодно, ветер трепал головной платок, норовя совсем его унести, руки стыли, песок был крупный и больше царапал, чем чистил. И все же Вера любила купать кастрюли: что-то вольное, свирепое обдувало ее там, на берегу. Море пахло йодом, простором и, как это ни странно, — вечностью...

Александр Иванович, сухой и неласковый, целыми днями пропадал по делам стройки: с кем-то встречался, выпивал, советовался, тут доставал машину, там — цемент, гвозди, оконные стекла. Вот где ему пригодился хоть и горестный, но все же опыт работы в КЭО. Приятели, приятели... Время от времени Ларичев приводил кого-нибудь из них в дом-временку. Спирт он приносил с собой, но закуску всегда требовал с Веры. «Понимаю, время трудное, все по карточкам, теорию я и без тебя знаю. А ты раздобудь где хочешь. Я ж тебя не спрашиваю, где достать гвозди?» И Верочка изворачивалась, кик могла. Александр Иванович требовал сложно: не только накрытого стола, но и улыбки, радушия, прелести женской.

— Ты должна облучать, понимаешь? Иначе какая же ты хозяйка?

Вера и старалась — облучала. А гости были ужасны. Какие-то представители подземного делового мира, где циркулировали дефицитные вещи, где можно было (ты — мне, я — тебе)

достать что угодно. На видимой поверхности этих вещей не было, но в глубине они обращались и могли быть вызваны оттуда неким подобием волшебства. Надо было знать, кого, чем, когда угостить, кого с кем познакомить, кому о чем намекнуть. В этом мире не торопились, подолгу сиживали за столом, беседуя о чем угодно, только не о прямом деле. Нет, надо было пройти через священный ритуал приятельства, приобщиться (иногда почти искренней!) взаимной любви, когда дело устраивалось не в ответ на какую-то услугу или, упаси боже, денежный куш, а просто так — из любви к ближнему. Эту любовь надо было в себе раздуть, и времени на раздувание не жалели. Дельцам тайного мира надо было верить в свое бескорыстие. А чтобы верить, надо было глушить себя водкой. Ларичев все это понимал, но, помимо воли, все же отчасти испытывал влияние традиционного ритуала. Иногда, особенно выпив, он почти верил, что его окружают пусть простые, но честные и добрые люди, готовые бескорыстно его осчастливить...

А дело шло медленно. Гость, выпив разведенного спирту, еще кочевряжился, не мог прямо и просто приступить к делу: надо было еще покривить душой. Не до конца опорожненная бутылка с жемчужно-опаловой жидкостью, алые шары квашеных помидоров, атлантическая сельдь с перламутровыми, втянутыми боками — все это располагало к лирике. Гость расстегивал пиджак на объемистом животе и начинал откровенничать. О своем детстве. О судьбе, вечно его преследовавшей («Только опомнился, а она тебя по морде!»). О неудачной женитьбе. О черной неблагодарности иждивенцев — детей, племянников. «Я тебе вот что скажу, Саша. Верь моему слову, как на духу: ни разу в жизни ни тютелькой для себя не попользовался. Только для других. Валил, как в прорву. Есть такие, что все себе, а я — другим, как ненормальный. И что? До седых волос дожил, паршивой тышчонки не скопил (тут извлекалась мятая сберегательная книжка со вкладом двенадцать рублей пятьдесят копеек, Ларичеву предлагалось ее осмотреть и удостовериться). Кого люблю, — продолжал гость, — ничего не пожалею, все отдам. Плевать мне на эти деньги (тут сберкнижка бросалась на пол и топталась ногами). Я тебя, Саша, полюбил (поцелуй), ты мужик правильный, прямой, вроде меня. Выпьем, Саша, за нашу мужскую дружбу!» Опять наливались лафитнички, насаживались на вилки шары помидоров, ломти атлантической сельди... Александр Иванович тоже мутнел разумом, начинал любить гостя, называл его Колей...

— Главное, жена у тебя хороша! — говорил Коля, разомлев окончательно.

В разговор о жене Ларичев не вступал даже пьяный.

Дело шло медленно-медленно, но все-таки шло. Невозможное становилось возможным. На участке скапливался строительный материал: кирпич, лес, шифер. Появлялись бригадами шабашники, строительные рабочие — их тоже надо было поить, любить... Рабочие приходили и уходили, не сделав почти ничего (время тратилось больше на чоканье и взаимное хлопанье по плечу), а потом вдруг являлись на весь выходной день, и за этот день стройка подвигалась больше, чем за два предыдущих месяца. В общем, дом потихоньку рос себе да рос. Многие Ларичев делал сам — клал кирпичи, месил раствор, строгал и прилаживал двери, и Вера ему помогала — веселая, худая, бесполоая, похожая со своей длинной шеей на сторожкого гуся, особенно когда вышагивала по участку, нагибаясь за каждой щепкой...

Зимой в дощатой временке бывало нестерпимо холодно, и Ларичевы волей-неволей перебирались к матери, где для них всегда готов был и стол, и дом, и нежная, молчаливая забота. Анна Савишна, прежде не очень-то любившая зятя, теперь стала его жалеть, баловать. Может быть, иной раз виделся он ей сыном, Ужиком... Кто знает? Александр Иванович в гостях у тещи не заживался. Чуть потеплеет — берет Веру и уводит обратно в свою временку.

Полтора года строился дом. Вот наконец он закончен, подведен под крышу — поверить этому

почти невозможно. Он еще пуст, пахнет известкой, краской, сыростью, но существует...

Праздновали новоселье на чужих столах, сборных стульях. Приятели-благодетели Ларичева собрались наконец все вместе. Сперва друг на друга косились, но водка их спаяла: пили, пели песни и сами себе умилялись. Как они его осчастливили, как любили!

— Вот, Верочка, мы с тобой и помещики, — сказал Александр Иванович на другой день. — Слава богу, крыша над головой есть. Теперь можно и о жизни подумать.

Вера поежилась от старорежимного слова «помещики», но улыбнулась послушно.

— Смотри. Здесь у нас будет расти виноград, а здесь — персики. А тут мы посадим грецкий орех. Под орехом поставим стол, будем обедать, чай пить. Веришь ты в это? Видишь будущий грецкий орех?

Участок был ужасен — пустой, изрытый, засоренный.

— Вижу, — сказала Вера.

— Будешь за него бороться?

— Буду.

28

И пошли, и пошли годы борьбы за грецкий орех. Прошло их немало, и были они тяжелы, но прошли. Была вскопана, поднята, унавожена сухая, глинистая земля — чуть ли не руками разминали каждый комок. Были высажены плодовые деревья, виноград, малина. Был, наконец, посажен, прижился и вырос в середине двора символический грецкий орех — правда, еще невысокий, ростом со среднего мужчину, но мощный, ухоженный, с любовно побеленным статным стволом. А под ним, как и было задумано, поставили прочный обеденный стол на чугунных ножках, для устойчивости вкопанных в землю. Построили летнюю кухню, дровяной сарай. Небольшой участок двора обнесли сеткой, там поселились куры — веселые, молодые, с алыми гребнями, а среди них расхаживал, сияя радугой, разноцветный владыка. Вера его называла «наш русский народный петух». И кота завели тоже русского, народного, традиционной серо— тигровой масти; в память всех предшественников его назвали Кузьмой. Построили две беседки, между ними Вера Пла-тоновна посадила розы, и цвели они целое лето — одни осыпались, другие начинали цвести. Вот и есть у меня свои розы, долго пришлось до них доживать...

Жизнь была тяжелая, трудовая, но здоровая и почти изобильная. Денег, правда, не хватало — пенсия шла главным образом на уплату долгов. Зато были свои куры, свои яйца, свои ягоды — яркая, породистая клубника... Впрочем, клубника больше шла на продажу — не на рынок, а по знакомству (Шунечка не хотел об этом знать, но молчаливо потворствовал). Был свежий, ветрами пронизанный воздух, синее море на горизонте, особенно широко видное с террасы, сквозь плети дикого винограда, сплошь завившего дом сверху донизу. Море со своими барашками и парусами иногда тревожило Веру как напоминание об иной жизни, более просторной, но размышлять ей было некогда...

Мать, Анна Савишна, поселилась у Ларичевых с тех пор, как в одну из весен полной водой смыло под обрыв старую хату.

Она уже давно дышала на ладан и вот не выдержала. Хорошо, старухе самой удалось спастись,

не придавило развалинами. Она стояла на краю обрыва в темненьком летящем платке, с задумчивым темным лицом, и что-то нашептывала. Вера обняла ее за плечи — мать отстранилась. «Ремонтировать бесполезно», — сказал Ларичев и тут же распорядился: «Взять вещи, какие остались, маму — к нам». Анна Савишна что-то говорила про «инструмент» — пианино, верного Найденыша, прожившего с нею годы и как-то по-своему скрашивавшего ей жизнь. Александр Иванович ее высмеял — от «инструмента» остались рожки да ножки. Мать покорила. Вырыли из-под мусора кое-какие вещи — было их до странности мало, ничего не нажила за долгую жизнь. Тем временем подкатил на фузовике Александр Иванович — пофузились, поехали. Дома выпили «за новоселье» — Анна Савишна тоже пригубила вишневым наливки, но глаза были горькие... А на участке, где стояла хата, кто— то, по договоренности с Александром Ивановичем, начал новую стройку...

У Ларичевых мать жила тихо, неслышно, в маленькой комнатке без окна — бывшей прихожей. Освещалась она через дверь, летом в ней было прохладно, зимой — тепло; Вера называла ее «каюта-люкс». И правда, в комнатке было уютно: портреты Ужика, Жени, старая карточка Платона Бутова (усы колечками), лиловое бархатное яйцо с позументами, пучки крашеного ковыля и чистота-чистота... Вера любила забежать к матери со двора, с фядок, с яркого солнца, мать брала ее за руку, и так они сидели минутку... Жизнь у Ларичевых шла налаженно, складно, по четкому расписанию, как на корабле. Летом Вера вставала рано, надевала широкополый соломенный «брыль» и шла на свои плантации. Полола фяды, подвязывала виноградные лозы, опрыскивала деревья — все это не по-любительски, а на научной основе (у нее уже скопилась неплохая библиотечка по садоводству). Шунечка вставал позже, часов в десять. Ради утренней неги он предпочитал не одеваться и кейфовал в одних трусах, обширных, как черные флаги. Над ними привольно располагался волосатый немалый живот.

— Эй, там, на камбузе! — кричал, вставши, Александр Иванович. — Иду-иду, — спешно откликнулась Анна Савишна. — Мне не вас, а Верочку. Я не при всем параде, так сказать, без галстука. — Шунечка, доброе утро, — скромненько говорила Вера, заглядывая через порог. — Чего тебе подать? — Чаю с калачом, варенье абрикосовое.

Проходило две-три минуты, и являлась Вера с подносом, где было все то и только то, что требовалось: чай горячий, душистый, свсжезаваренный (Шунечка не терпел перестоявшего), белый мягкий калач с мучнистой корочкой, разогретый, слегка подрумяненный, темно-рыжее, нежно-густое варенье... И надо всем этим — улыбка. За годы супружеской жизни Вера Платоновна выучилась улыбаться, какие бы кошки ни скребли на душе, быть всегда свежей, подтянутой, оживленной. Вот и сейчас, после работы на жарком солнце, она была свежа, причесана, сбрызнута одеколоном. Садилась напротив мужа, не распускаясь, не разваливаясь, прямо и стройно, с ямочками на веселых, юных щеках, и любо было смотреть на ее полные, гладкие, золото-загорелые руки... Удовлетворенный Шунечка, выпив свой утренний чай, целовал жену в щеку и милостиво ее отпускал. Сам же, в трусах, садился в кресло читать книгу. Книг у него было немного, но он их любил.

Заботы по дому — были строго разделены. Сад, огород, кухня, белье — это Верочка. Сарай починить, уплатить налоги, провести воду, оборудовать чердак — это все Александр Иванович. С годами он стал хозяином солидным, рачительным, разумно расчетливым, без мелочности и скупердяйства, знал цену всему, и себе в частности. Разные Коли теперь к столу не допускались, принимались по второму разряду — в кухне.

Особой стороной жизни, особой заботой и радостью были дачники. Летом, для пополнения бюджета, Ларичевы сдавали часть дома, но не кому попало, а по строгому выбору. Тут Александр Иванович был привередлив, не терпел в доме плохого общества. Хорошим обществом были люди высокого полета — профессор, артисты, генералы. Сам выученный,

как говорится, на медные деньги, Шунечка ценил образование, но с достоинством, без подобострастия. Снять дачу у полковника Ларичева было честью, доступной не всем. Дом был добротен, уютен, изобретательно ухожен. Комнаты — светлы, высоки, просторны, украшены занавесками, свежо надутыми ветром. А всего важнее, что дачники чувствовали себя не дачниками — гостями. К их услугам были и сад, и огород со всем там произрастающим, и смуглые персики, и матовая малина, и беседки, и розы, и просторный стол под грецким орехом, и смех и оживление милой хозяйки, и умная беседа выдавшего виды хозяина. Вечером в беседке, увитой розами, ставилось на стол холод-нос кисленькое домашнего разлива вино, к нему — козий сыр, колбаса, нарезанная толстыми, в палец, ломтями (вкус Александра Ивановича).

Светлый рогатый месяц высился в небе, прохладный морской ветерок обдувал щеки, и светлая радость сидела за столом в лице белокурой хозяйки.

«Рай», — говорили гости. И подлинно, рай. Мудрено ли, что они, раз приехав, стремились сюда опять и опять? У Ларичевых дачники жили из года в год, становились своими людьми, как бы членами одной сложной веселой семьи...

26

Из года в год приезжал старик академик Красовский, историк древнего мира, с худенькой, нервной, нежно-озабоченной женой. Он был бел как лунь, она рыжа как белка, они ласково бранились, любя друг друга; предметом спора были лекарства, которых никто из них принимать не хотел, но непременно велел принимать другому. Он был светом ее жизни, единственным смыслом; когда он говорил, она глядела ему в рот и кивала маленькой рыжей головкой, напоминая старинную фарфоровую игрушку — кивающего китайца: такие когда-то ставились на камин; Вера еще помнила одного такого в детстве, в том доме, куда они с матерью ходили стирать. Разговор академика был умен, несколько усложнен старомодными формами вежливости: «соизвольте выслушать», «прошу извинить», но, слушая его, Вера как бы воочию видела Древний Рим с его фонтанами и колоннами, струящиеся, красным окаймленные тоги, видела неистово храбрых легионеров, сражавшихся голыми, но с большими щитами... «Понт Евксинский», — говорил академик, протягивая руку к синему морю... Вере нравилось, что они живут на берегу Евксинского Понта... Раза два снимала комнату у Ларичевых знаменитая артистка Маргарита Антоновна Кунина — лауреатка, народная, веселая, орденосная, гремевшая по всей стране (на улице за нею бегали мальчишки и кричали: «Тэрзай меня, тэрзай!» — фразу из нашумевшего фильма, где она играла престарелую кокетку). Маргарита Антоновна была и впрямь немолода, несколько этого не скрывала и на сцене не боялась быть старой (она и в юности играла старух), но в своей откровенной немолодости была прекрасна. Собственно, красивой она не была никогда, но что-то было в ней — мимо красоты, поверх красоты — неотразимое. Какая-то продувная веселость, владение своим телом и речью, бурлящий комический дар. Глаза — черно подведенные, пламенно—серые. Шапка мятых, плохо завитых, пестро-седых кудрей. Великолепное неряшество в одежде (могла надеть разного цвета чулки, и когда ей на это указывали, отвечала: «Чистая условность. В средние века вообще так носили»). Великолепное презрение к моде. Глубокий, вибрирующий голос (почти бас), неровно накрашенный рот, папироска, присохшая к верхней капризной губе (клочочки бумаги с нее она срывала ногтем), а все вместе — чудо! Александр Иванович, вообще-то не терпевший неряшества, в Маргариту Антоновну был просто влюблен. Весь сиял, когда она была рядом, ради нее надевал не только брюки — пиджак! Усевшись в кресла, они вели долгие утренние беседы (когда Вера ненароком входила, Шунечка сухо говорил: «Оставь нас»). Маргарита Антоновна загадочно играла подведенными глазами, ужимчатым плечом... А Вера несколько не ревновала, напротив, радовалась за Шунечку. «Надо же дать животному попасться», — говорила она матери.

Несколько лет подряд приезжала из Москвы семья генерала Ивлсва — жена, Марья Ивановна, черноглазая толстуха с вечной завивкой, веселая, но паническая, топавшая по двору зелеными босоножками, и двое сыновей-погодков, Пека и Зюзя, — сущие дьяволы, но с обаянием. Старший — худой, начитанный, остроумный, младший — амурно-пух-лый красавец, невежда. Порознь они были еще ничего, но вместе образовывали взрывчатую смесь.

Попали они к Ларичевым случайно: мать на лето повезла мальчиков к морю, искали дачу, зашли напиться да так и остались. Зюзя заявил: «Никуда больше не пойдем, мне здесь хозяйка нравится». Вера растрогалась (Зюзя и в самом деле был неотразим в своей красоте дворянского недоросля). Как раз в то время в доме пустовала комната, и Вера, с разрешения Шунечки, сдала ее пришельцам. Пека и Зюзя прижились тут, как в родной семье. Шунечке эти разбойники нравились; со старшим он играл в шахматы, с младшим вел душеспасительные беседы. Он был единственным человеком, которого они слушались, хотя мать, Марья Ивановна, нередко давала волю рукам... Как-то, рассердившись на Зюзю, она отхлестала его по щекам кухонной тряпкой; «Концерт для тряпки с оркестром», — иронически комментировал Пека — досталось и ему... В доме держать мальчиков было нельзя из-за их изобретательной шkodливости; Шунечка поселился с ними на чердаке, где они спали на полу, в обстановке спартанской, но уютной. Вера Платоновна туда не забиралась — на приставной лестнице кружилась у нее голова, так что на чердаке образовался некий мужской заповедник. Мальчики быстро его обжили и до того распустились, что однажды стали оттуда поливать соседей какой-то сомнительной жидкостью (потом клялись, что водой). Соседка Анна Михайловна (пострадавшая) — весьма и весьма толстая женщина в сарафане, открывавшем голую четырехэтажную спину (Шунечка говорил про нее, что она «в розвальнях»), — отчаянно бранилась, крича: «Знаю я этих хулиганов, не такие они люди, чтобы водой брызгаться!» Хулиганы, присмирив, таились в углу чердака, а генеральша в отчаянии плакала под грецким орехом.

Вера Платоновна все уладила, уверив Анну Михайловну, что в глечике была именно вода (сама, мол, ее на чердак ставила). Шунечка, пока шел скандал, ни во что не вмешивался, а когда все кончилось, вызвал к себе мальчиков и что-то им внушал наедине (может быть, даже и с ремнем), после чего они дня два были как шелковые. На третий день младший, Зюзя, подрался на дворе с псом Куцым: отнимал у него кость, и Куцый, естественно, его покусал. Генеральша опять впала в отчаяние, собралась везти сына в Пастеровский институт на предмет прививок от бешенства. Но Вера Платоновна ее отговорила. «Из них двоих бешеный он, — сказала она, указав на Зюзю. — Это Куцему надо делать прививки!» Марья Ивановна быстро утешилась — она вообще быстро расстраивалась и быстро утешалась, — махнула рукой и сказала: «Пусть бесится!» Разумеется, никто не взбесился... Генеральша-то вообще была ничего, нечванная, даже где-то там работала, преподавала. Детей воспитывать она решительно не умела. Генерал, ее муж, от этого занятия разумно самоустранился. Он тоже Иногда приезжал к Ларичевым — худой, узкий, ученый, похожий на Пеку (название его специальности Вера не могла не только запомнить, но и повторить). Генерал к дачам вообще относился скептически («Зачем снимать дачу? Отключу свет, водопровод, перестану спускать воду в уборной, за хлебом буду ездить в Дорогомилово и брать не белый, а черный, — вот тебе и дача!»), но для Ларичевых он делал исключение. Приезжал на неделю-другую, как говорил, «в целях инспекции». С Александром Ивановичем они подружились и, сидя в беседке за стаканом вина, вели разговоры на военные темы, спорили о какой-то Зеебрюггской операции (а Вера и не знала, что ее Шунечка — такой образованный...).

30

Приезжали не только дачники, но и просто гости. Например, сестра Женя с мужем Семеном Михайловичем. Он был в свое время очень и очень крупный деятель, но теперь, в какую-то

струю не попав и ослабев здоровьем, вышел на пенсию. Был он одышлив, тяжел, тучен и до того порабощен женой, что глядеть было жалко. «Семен, дует, закрой окно», «Семен, где мои туфли?», «Семен...» «Эй, Иван, чеши собак!» — бормотал про себя Ларичев, очень эту пару не одобрявший. Впрочем, и самой Жене — теперь Евгении Платоновне — у Ларичевых не очень-то нравилось. Удобства самые примитивные, купаться ей было нельзя, так что море отпадало. Питание требовалось особое, диетическое (какие-то паровые пулпеты). Анна Савишна старалась— старалась, а никак не могла угодить столичной гостье. Да что там — столичной! Подымай выше: Женя много бывала за границей, любила про это рассказывать, выходило, что ездила она сама, а Семен при ней, вроде сопровождающего. В Париже делали ей прическу — нечто волшебное! «Прямо на голове, без всяких бигуди, намочил составом, уложил, высушил, расчесал — сказка!» Внешне с годами изменилась сильно, хотя по-прежнему считала себя красивой и часами сидела у зеркала, по-разному напуская на брови и лоб волнистую челку. Она расплнела, но как-то неровно, кучами: живот тяжелый, ноги тонкие. Когда-то нежные черты лица огрубели, смазались; она казалась теперь не моложе, а старше сестры. Больше всего ее старило вечно обиженное лицо. «Укус и горчица», — говорил Александр Иванович. Глядя на сестру Женю, Вера задумывалась: а не добрую ли услугу оказал ей самой Шунечка, приучив всегда улыбаться? Так сказать, озарив вечной молодостью?

Сестре Жене у Ларичевых не нравилось еще и потому, что Семен Михайлович очень уж расцветал в присутствии Веры, пускался в шуточки, дарил шоколад... А этого Евгения Платоновна ой как боялась! За нынешним мужем только недогляди — уже за чью-то юбку уцепится. Один раз прогостили полный месяц, другой — — уехали, не дожив срока. По дороге на вокзал Евгении Платоновне попал в туфлю камешек, и она невыразимо страдала. «Семен, вытряхни» — и страдальческое стояние на одной ноге, с опорой на его плечо, пока он, пожилой и тучный, вытряхивал туфлю... Оказалось, что это не камешек, а гвоздь.

Одно лето приезжал в гости сын Александра Ивановича Юра — теперь уже взрослый, полный, гладкий, женатый; жена Наташа с рыжим перманентом, детей нет. Мать его, Анна Петровна, давно умерла. Юра с отцом переписывался редко и мало. Александр Иванович с ним не нежничал, но и не ссорился; поселил гостей в чуланчике при кухне (кажется, Наташа с рыжим перманентом обиделась) — в доме яблоку было негде упасть. Юра называл Веру Платоновну «мачеха» — видно, для юмора, и вообще был чужой, далекий. Глядя на него, Вера пыталась и не могла найти прежде любимые черты — даже лоб у него растолстел, хотя, кажется, лбы не толстеют... Пожили, погостили, уехали...

Одно лето — вскоре после того, как дом был достроен, — — Вера выпросила у мужа позволение пригласить в гости Машеньку Смолину с детьми. Он согласился, но неохотно. Машу он недолго любил, опасался ее влияния на жену, а дети наводили его на воспоминания о том, как он пришел с войны, как застал Веру не одну...

Приехали. Вовус совсем большой, говорит басом, кудри на голове, как змей Горгоны Медузы — только что не шипят. Глаза серо-зеленые, озорные, насмешливые, на носу горбинка. «Здравствуйте, тетушка» — как чужой... «Что же ты, так и будешь мне „вы“ говорить?» — «Извините...» Сама Маша постарела, чем-то раздражена, с большим седым волосом в одном усе, с новой манерой стряхивать на пол пепел своих папирос... Узнаваема, до боли, была одна Вика — тоненький человечек в пустых штанах (платьев она не признавала). Хрупкое тельце, улыбка бледненьких губ, открывающая трогательную пустоту на месте выпавших передних зубов... Пенно— вздыбленные кудри, ночные глаза...

— Вика, маленькая, ты меня не узнаешь? Это я, тетя Вера.

— Здравствуйте, — вежливо сказала Вика. — Вы не скажете, где конец света?

— А на что тебе?

— Хочу знать. Если долго-долго ехать на поезде, а потом долго-долго — на самолете и еще немножко — на пароходе, это и будет конец света?

— Думаю, что нет.

— Тем хуже. Где-нибудь он должен быть...

— Солнышко мое! До чего же ты стала большая, умная... Давай поговорим. Я ведь тебя давно не видела. Ты кем хочешь быть, когда вырастешь?

Когда-то хотела быть милиционером. Раздумала. Потом — водителем такси. Тоже раздумала. Теперь я хотела бы работать в цирке. — Кем?

— Слоном...

А Шунечка Вика не понравилась: «Какой-то недоносок». Он любил вес мощное, крупное, сильное. Недаром он полюбил Веру.

...В общем, гармонии с гостями не получилось. Особенно Шунечка невзлюбил Вову. Змеи Горгоны Медузы несказанно его раздражали. «Ты бы подстригся, молодец», — сказал он однажды. Вовус поглядел непочтительно и даже позволил себе усмехнуться. С тех пор он больше для Шу-нечки не существовал. За столом хозяин глядел сквозь него, в коридорах и на террасе не замечал. Вовус, по совету Веры Платоновны, даже подстригся, но и за это не был удостоен взгляда...

Плохо вязалась с домом и Маша, как-то очень уж по-докторски авторитетная. Шунечка не любил людей, которые знают, как надо, он и сам это знал. Маша с годами стала речиста, непрестанно курила (Александр Иванович только морщился). Была бесцеремонна, не уважала порядка, заведенного в доме, на «Шунчика» смотрела иронически (очень становясь при этом похожей на Вовуса), высмеивала его султанские замашки, даже передразнивала: «Эй, там, на камбузе!» «Машенька, ради бога, тише!» — шептала Вера. Она все трусила, ожидая взрыва. Но взрыва не последовало: Александр Иванович крепко держал себя в руках, законы гостеприимства были для него святы. Так или иначе, месяц был дожит.

Расставались в общем-то с облегчением. «Вот ведь как бывает, — думала Вера, — живешь с человеком, как с самым родным, делишь с ним и стол, и кров, и детей, а проходит время...» Грустное было это прощание — грустное и невразумительное... Вера провожала Машу с детьми на вокзал, поезд подали на какой-то другой перрон; пока нашли... Вика в новых штанах, которые сшила ей тетя Вера (по кошке на каждом колене), была целиком поглощена новой заводной машиной, все время пускала ее по перрону, под ноги прохожим, и в любую минуту могла упасть на рельсы... Вовус, усмехающийся каким-то своим внутренним мыслям, так и не привыкший называть Веру на «ты»... Все это мучительно мельтешило, Вера с Машей так и не успели поговорить.

Неожиданно прозвучало по радио: «Провожаящих просят покинуть вагоны».

Как покинуть? Уже? Бросились друг другу в объятия. На мгновение — прежняя близость, любовь, понимание. Мгновение кончилось, поезд ушел.

Уехали, больше не приезжали. Вера не очень-то и настаивала. Маша Смолина, когда — то самая близкая, уходила все дальше. Письма становились все реже, взаимный интерес слабел. Вот уже

Вера и подолгу о Маше не вспоминала. Это было там, в какой-то другой жизни. А настоящая жизнь — сегодняшняя, реальная — текла из года в год, из лета в лето, с плантациями, розами, гостями, дачниками, со сложным, но благоустроенным хозяйством, которым Вера Платоновна управляла веселой, но твердой рукой. В летнее время дачники жили не только в доме, но и на террасе, в сарайчике, на чердаке. Всех надо было устроить, облучить, связать, разговорить, познакомить. В моменты «пик» — в дни наибольшего скопления людей — Вере Платоновне просто из-под земли приходилось добывать койки, подушки, постельное белье. «Ты у меня прямо хозяйка гостиницы», — шутил Шунечка, когда был благодушен...

Давно это было... Как-то сейчас обернется жизнь?

31

На другой день после похорон приехал сын Александра Ивановича Юра с женой Наташей. Жена Наташа постарела, перманент стал еще рыжее, огнистее, во рту — золотой зуб. А сын Юра еще поглаждал, стал похож на пирожное эклер в розовой глазури. Он поцеловал мачеху в руку, жена Наташа бросилась ей на шею, театрально рыдая... — Простите, не успели на похороны, — сказал Юра, — поверьте... Чему в таких случаях предлагается верить? Наташа продолжала рыдать. «Когда ты, дурища, от меня отлипнешь?» — нелюбезно думала Вера. Наташа отлипла. В Вере проснулась хозяйка.

— Пойдемте, я вас устрою.

— Мы только на один день, — сказал Юра, — дела... Наташа шарила глазами по стенам, по потолку, как бы

выбирая, оценивая. За обедом все выяснилось: приехали они по поводу наследства. Юре, как сонаследнику, причиталась четверть дома; в доме было три комнаты и кухня, не считая чердака и «каюты-люкс».

— В крайнем случае можно разгородить, — сказала Наташа.

«Черта с два вы у меня получите четверть дома, — думала Вера Платоновна, любезно обхаживая гостей (выучка ее была безотказна). — Все сбережения отдам, а в дом к себе не пущу. Рыжая ведьма».

Юра осторожно завел речь о сбережениях.

— Сберкнижка единственная, на мое имя, — сказала Вера Платоновна с самой любезной своей улыбкой, а подумала: «На-кася, выкуси».

— До ввода в наследство еще полгода. Я буду советоваться с юристом, — глазурно сияя, сказал Юра.

— Конечно, посоветуйтесь, время еще есть, — ответила Вера Платоновна. («Черта с два получишь ты у меня четверть дома!»)

Оказывается, что-то ее еще интересовало. А она думала — все кончено...

Вечером пришла Маша Смолина — веселая, бодрая,

— Ну вот, дорогая моя. Хватит распускать нюни. Я тебя устроила на работу.

— Как? Куда?

— В гостиницу «Салют», дежурной по этажу.

— А я справлюсь?

— А то нет! У тебя — огромный опыт работы с людьми. И самое главное, приспособляемость. Я не могла бы...

\* \* \*

На другой день Юра с Наташей уехали. Прощаясь, Наташа опять плакала у Веры на плече, а Вера, поверх ее головы, смотрела прямо в глаза Юре, нахально улыбаясь; Юра глаза опустил. А еще на другой день уехала Маша Смолина, предварительно сводив Веру в гостиницу «Салют» и договорившись, что та выйдет на работу через месяц. Вера с матерью остались одни в пустоватом доме, среди весенних роз — все это, и дом, и розы, Вера впервые ощутила своим и готова была за это свое драться...

И еще через два дня уехала сама Вера в военный санаторий на Карельском перешейке, под Ленинградом. Путь далек, впереди неизвестное, жизнь не кончена.

32

Военный санаторий стоял на берегу моря — не моря, собственно, а мелкого залива, известного под именем Марки — зовой лужи. На горизонте Кронштадт, где иногда золотой искоркой светился купол собора. Вокруг — Кронштадта — форты, похожие на расползшихся черепа; один из них, загадочный, назывался «Чумной форт» — там, говорят, когда-то ставились опыты с чумой. Была поздняя весна, здесь, на севере, еще запоздалая против обычных сроков. На деревьях чуть проклевывались почки, из земли, из-под сосновых игл лезла негустая нежная трава. А соснам весна была нипочем — они стояли себе, шумя на ветру. Вдоль берега сохли подпертые кольями рыбачьи сети, лежали кверху дном черные лодки. Сети пахли рыбой, лодки — смолой. Сезон здесь еще только начинался. Санаторий был заселен главным образом отставными полковниками, генералами — все важные, тучные, медлительные, сердечники. Они ходили по кольцевой тропинке, именуемой «терренкур», и после каждой сотни метров присаживались отдохнуть. В столовой они были серьезны, озабоченны, долго выбирали меню на завтра, заказывали овощи и салатки, явно тоскуя по свиной отбивной. Говорили о разгрузочных днях, о том, кому и сколько удалось сбавить... Вера Платоновна, в черном, наглухо закрытом платье, вела себя более чем сдержанно и в общение не вступала. Жила она в палате на двоих. Соседка — стройненькая дамочка лет сорока с войлочными взбитыми, светло-соломенными волосами — — вдова солиста армейского ансамбля песни и пляски: «Мой муж был крупным артистом — жест, обаяние, кудри из-под фуражки. Женщины так и лезли на стенку, на стенку...» Смысл ее жизни был в заграничных поездках — муж возил ее по всему миру. Франки, доллары, лиры — твердые, падающие, стабильные... Столько — то валютой получал муж — целое состояние.

— И, знаете, я считаю, что нужно иметь джерсовых костюмов минимум пять. На все случаи жизни. Очень практично. Прекрасно чистится, не растягивается...

У самой у нее джерсовых костюмов было восемь. Узнав, что у Веры нет ни одного, она снисходительно усмехнулась — усмешкой белого колонизатора над примитивностью дикаря.

Целыми часами она делала себе педикюр, поднимая колено к самому подбородку. Лак наносила тонкой кисточкой; сегодня он был ярко-розовый, завтра — перламутровый, послезавтра —

лиловый...

— Ничто так не старит женщину, как неухоженные ноги.

Звали соседку Ляля — Ляля Михайловна.

— Я очень нежная по природе. Знаете, когда умер муж, я была просто в отчаянии. Решила покончить расчеты с жизнью. Пришла в ванную с бритвой. Вскрыла себе вены, руки в воду — и жду. В это время приходит мой знакомый, ну, в общем, друг. Звонит — я не отзываюсь, руки в воде, истекаю кровью. Взломал дверь, ворвался в ванную, меня — на руки, на кровать, другой рукой звонит по телефону — «неотложку». Спасли. Так я осталась жить.

— А детей у вас не было?

— Было двое. Умерли. Честно говоря, я о них не жалею. Когда умер муж, я в тысячу раз больше переживала...

— Вы, значит, одна живете? — с личным любопытством спрашивала Вера Платоновна.

— Нет. Не выношу одиночества. Живу с тем, который ворвался. Спас мне жизнь. Если бы не он, я была бы уже в крематории, а это, согласитесь, не очень приятно. Купил мне путевку. Санаторий — дерьмо. Мне, по состоянию здоровья, нужны жемчужные ванны. Приезжаю, требую. Нет жемчужных — одни углекислые. Как вам это нравится? В Карловых Варах все разновидности ванн, массаж, уход за телом — вот где можно помолодеть! А здесь — минимум культуры. К тому же мужчины... Видели вы где-нибудь таких мужчин? С ним целуешься, а рука на пульсе: нет ли инфаркта... Нет, спасибо — в первый и последний раз я сюда приехала...

Однажды Вера Платоновна вышла к обеду и увидела за столом нового человека: молодой подполковник, лет тридцати пяти. Что-то в его облике ее поразило. Вглядываясь, она поняла: да, что-то общее с молодым Шунечкой. То же удлиненное, властное, победительное лицо. Те же ровные, соболиные брови. Даже цвет глаз — желтовато-горчичный... Только черты лица помельче, поженственней, и волосы не те. Жиденькие, гладко через всю голову зализанные распадающимся зачесом. Так мужчины, дорожащие своей красотой, прячут лысину. У Шунечки-то была копна-Вера смотрела-смотрела на нового соседа, и у нее болело сердце, не как-нибудь фигурально, а обыкновенной физической болью. Подполковник, видимо, что-то почуял и на Верины робкие, из-под ресниц, взгляды отвечал вполне откровенными. После обеда: — Разрешите вас проводить? — Пожалуйста, — ответила Вера, сама ужасаясь своей сговорчивости. Но ведь это молодой Шунечка ее звал... — Вы к себе, в палату? Спите после обеда? — Нет, никогда. — Тогда не пройтись ли нам? — С удовольствием. — К морю? — Пусть будет к морю. И вот идут они по пляжу, по песку. Песок белый, тонкий, под ногами не скрипит, нежно поддается. От белесого моря тянет холодом; оно мелко, плоско, скупое замкнуто сереющим горизонтом; далеко уходят в него округленные, чайками засиженные камни. Время от времени с какого-нибудь из них лениво вспархивает чайка и равнодушно парит над водой. Вера невольно сравнивает это море — с тем, этих чаек — с теми... Какое может быть сравнение? Там море яркое, сине-сапфирное, песок темный, скрипучий, радость неистовая. Здесь все скромно, лысовато, подержанно. Как истая южанка, Вера Платоновна прелести севера не понимала. Так вышло, что гидом, путеводителем, открывшим ей северную прелесть, оказался новый знакомый — подполковник, похожий на Шунечку. Звали его Виталием Петровичем, фамилия — Кораблев. Долго-долго гуляли они в тот вечер (даже ужин пропустили), а ночь все не наступала... — Наши белые ночи, — сказал Виталий Петрович. — Видите, какая белизна в небе?

Над морем, давно погасившим закат, но полным жемчужного света, лучами расходились тонкие белые облака. В неверном ночном свете лицо спутника казалось прекрасным.

— Слышите, поют комары? Тонкая-тонкая песня, словно жалоба. Грустят — скоро конец их короткой жизни...

Виталий Петрович взял Веру под руку:

— Вот и наша с вами жизнь коротка, не длинней комариной...

\* \* \*

Каждый вечер они ходили гулять, и он объяснял ей стройный, тонкий, звенящий северный мир. Знакомил с березами, угощал кисличкой. Белая ночь вставала на цыпочки, куда-то тянулась, взлетала, и вслед за нею тянулось, взлетало, падало сердце. Под черными соснами было темно, там ворохами лежали сосновые иглы — мягкие, пружинящие под ногой. Там, на этих иглах, под этими соснами Виталий Петрович Веру поцеловал. Поцелуй был легкий, невластный, короткий, как комариная жизнь. Самой себе ужасаясь, она закрыла глаза...

— Называй меня Талей, — сказал он в истоме.

\* \* \*

Целыми днями они были неразлучны. Расходились только на ночь — на белую, короткую ночь. Ляля Михайловна была недовольна:

— Нельзя возвращаться так поздно. Мне для цвета лица необходимо выспаться...

Вера не слушала: она спешно ложилась в постель. Мешали, никак не укладывались большие, утомленные ходьбой, неухоженные ноги. Мешали мысли: что же я делаю, что? Залетный, одинокий комар пел у нее над ухом — вот-вот сядет, укусит. Она шлепала себя по щекам, по лбу, комар увертывался, опять пел. «Сорок пять лет, сорок пять лет...» — пел комар.

А время шло, с каждым днем урезая само себя, грабя ее, обкрадывая. Две недели оставались, потом — одна, потом — ничего... Верин срок кончился, она уезжала, Таля еще оставался. На пальце у него обручальное кольцо — в первый раз надел. Таля, Таля... Спасибо тебе за все...

— Мы еще увидимся, — сказал он. — Я тебе буду писать.

— Ну, будь здоров.

Что это было? Любовь? Нет. Слава богу, до любви не дошло...

33

Гостиница «Салют», куда Вера Платоновна поступила работать, была не перворазрядная, но и неплохая. Здание новое, похожее на соты, с балконами — лоджиями, однообразно покрывающими фасад. На первом этаже — буфет, парикмахерская, подсобные помещения. На втором — жилые номера: двойные, тройные. На третьем — одиночные и люкс. Выше, на четвертом, — многоместные, человек на семь-восемь, типа общежития. Вера работала на третьем этаже. Столик с телефоном, над ним — доска с крючками, на которые вешались ключи от номеров. При каждом ключе болталась пузатая деревянная груша, специально придуманная, чтобы не клали ключей в карман, не уносили с собой. Впрочем, кое-кто

ухитрялся уносить и с грушей.

Вера Платоновна — светлая, завитая, надушенная — сидела у телефона, отвечала на звонки, записывала приезжающих в книгу, вручала ключи, принимала их, вешала на доску. Казалось бы, немудреные обязанности, но поначалу работать было нелегко. День — 12 часов подряд, сутки отдыха; потом ночь — 12 часов подряд, тут уже двое суток отдыха, и опять — день... С непривычки ей было трудно, особенно ночью. Днем еще туда-сюда: за разговорами, личными и телефонными, за хлопотами мелькающей гостиничной жизни время шло быстро, почти незаметно. Сменялись у столика люди — приходили с просьбами, претензиями, требованиями, а то и просто поболтать, пошутить. Постояльцы третьего этажа были почти все мужчины, командированные, не первой молодости, с положением, при деньгах. Приятно было такому постоять у столика, а то и присесть рядом, болтая с дежурной. Всегда улыбающаяся, красиво причесанная, чуточку подкрашенная, Вера Платоновна действовала на немолодых, усталых, жизнью и женами притесненных людей как волшебный напиток. Шутка, смех, уютные движения полных, женственных рук — и вот уже ответственный расцветал, переставал чувствовать свой живот, начинал петушиться, острить... В присутствии Веры всегда люди были склонны ценить самих себя и от этого становились лучше... Гости приезжали, уезжали, возвращались, радостно ее приветствовали: не забывали. Иногда кто-нибудь от полноты чувств подносил ей подарок: коробку конфет, букет роз... Вера Платоновна подарки любила, особенно розы.

Конечно, в ее работе не все были розы — были и шипы, и ох какие... В обязанности дежурной по этажу входило наблюдение за порядком, борьба с пьяными...

— Вера Платоновна, триста пятнадцатый опять напился, посуду бьет, — докладывала горничная.

Вера бежала на сильных, быстрых своих ногах к триста пятнадцатому номеру, стучала в дверь. Из номера доносились стоны. Дверь заперта. Из-под порога — лужа.

— Товарищ Михеев, впустите меня. Я — дежурная по этажу.

— Ммм... ррр... ка, ка, ка, — невнятно бормотал Михеев. Вера запасным ключом отпирала дверь, входила в номер.

За столом, уронив голову на руки, сидел немолодой мужчина и рыдал. На полу валялся разбитый графин, вода текла к двери.

— Ну, ну, ну, — говорила Вера Платоновна, — каждая жизнь имеет свои сложности, я вас понимаю, но все-таки вам лучше лечь...

Михеев плакал пьяными слезами, ловил ее руку — поцеловать. Вера смеялась.

— Вера Платоновна! Радость моя! — рыдал Михеев. — Если б вы знали...

— Знаю, все знаю.

Потихоньку-полегоньку она подталкивала его к кровати.

— Смотрите, я вам подушечку взбила. На такую подушечку да не лечь...

— Пустите, я пойду. Набью ему морду.

— Завтра набьете. Никуда он не денется. А теперь лягте на подушку. Договорились?

— Ммм... ррр... ка, ка, ка, — бормотал Михеев, укладываясь.

Назавтра Вера Платоновна весело, как ни в чем не бывало, встречала смущенного Михеева и выписывала ему квитанцию на стоимость разбитого графина...

Тяжелы были ночи. Спать на дежурстве не полагалось. Вера Платоновна даже в кресло не садилась, чтобы не задремать. Сидела на жестком стуле, читала книгу. Строки путались, исчезали, голова падала, книга — тоже. Ночью наваливались воспоминания. Жизнь с мужем вспоминалась как светлая, привольная, было жалко себя. Днем Вера себя не жалела — только ночью, на дежурстве.

Впрочем, были и ночью забавные происшествия. Приехал как-то в гостиницу дед из глубинки, дремучий такой. Просил самолучший номер. Как раз на третьем был свободный люкс — администраторша ему выписала. Дед уплатил вперед за три дня и не поморщился (видно, был при деньгах). Вера ввела его в номер.

— Самый лучший? — недоверчиво спросил дед.

— Будьте покойны, лучше не бывает.

Ночью снизу раздался стук. Прибежала дежурная первого:

— Вера Платоновна, там ваш старик буянит. Вера сбежала вниз. В вестибюле, у огромной стеклянной двери стоял дед из люкса и бил в нее кулаком.

— Швейцар отлучился, — чуть не плача, объяснила дежурная, — дверь заперта. Он и шурует...

Вера схватила деда за локоть:

— Перестаньте сейчас же, вы этак дверь высадите! Что вам нужно, зачем стучите?

— Выйти до ветру, — заявил дед глубоким басом проповедника.

— Господи, да у вас же в номере туалет!

— То-то и есть, дочка... Дала, говоришь, самый лучший номер, а нужник — в хате...

Кое-как уговорила деда, объяснила ему устройство канализации...

В общем, если разобраться, жизнь у нее была скорей веселая, хоть и трудновата. И очень она любила свой дом. Радостный, ясный, привольный — истинно свой. Четверть дома сонаследнику Юре она не отдала, сговорились на денежной компенсации. Стоило ей это почти всех сбережений — зато сама себе, всему дому хозяйка и нет рядом родственного рыжего перманента...

Как и предсказывала Маша, пришлось начать свертывать свое хозяйство. Первыми ушли куры. Потом стали уменьшаться плантации: не было ни сил, ни времени все обработать. От большей части земли она отказалась; поло— вина отрезанного участка, с плодовыми деревьями, виноградниками и кой-какими строениями, отошла к соседу Михаилу Карповичу; на другой половине начал строительство белым кирпичом отставной полковник, давно уже стоявший на очереди. Огородные культуры Вера Платоновна резко сократила: салат, редисочка, клубника — только для себя, три— четыре грядки. Зато розы! Тут уж Вера дала себе волю. Целые

заросли роз, всевозможные — и классические розовые, и чайные, и алые, и темно-красные, цвета запекшейся крови, — они цвели на колючих стеблях такими принцессами. Хозяйка изнемогала от любви к розам, знала каждую в лицо, ходила к ним на свидания, касалась щекой прохладных, по краю трубчатых лепестков. Розы позволяли себя любить равнодушно, чванно, время от времени отряхиваясь и роняя круглую каплю росы... «Ну, точь-в-точь как сестра Женя с Семеном, — думала Вера. — Впрочем, пускай себе капризничают: что не позволено человеку, позволено цветку...»

Домашнее хозяйство вела Анна Савишна — большая в этом деле искусница. Умягченная годами, тихая, молчаливая, она двигалась по дому неспешно, как добрый дух. Всюду доходили ее ловкие руки, зоркие темные глаза. Мать и дочь любили друг друга нежно, преданно, без лишних слов.

Непривычной радостью было для Веры чтение без помех. Когда-то, еще в гарнизонах, пристрастилась она к книгам. Последние годы Александр Иванович, отставник, все время был дома и требовал неусыпного внимания. Не то чтобы он запрещал ей читать — просто не находил нужным. Застав Веру с книгой, он всегда давал ей какое-нибудь поручение по хозяйству. Теперь читай сколько угодно, было бы время. Времени-то как раз было у нее маловато, и читала она не так уж много, но со вкусом, всласть. Отлично помнила прочитанное, рассказывала матери, иной раз развивая и украшая по-своему. Самая заурядная книга становилась у нее увлекательной. «А он что? А она что?» — спрашивала Анна Савишна. «А он... а она...» — импровизировала Вера. Она видела героев как будто в театре, расставляла их по-своему. Ах, театр! Редко-редко приходилось ей там бывать, а любила, очень любила.

34

Прошло уже больше года после смерти полковника Ларичева, и к Вере Платоновне начали свататься женихи. Еще бы, невеста завидная — и дом, и сад, и нрав. Женихи подсылали соседок, разведывали. Некоторые отпадали сразу же, другие удостаивались смотрин.

— Отчего же, в конце концов, не устроить мне свою жизнь? Если, конечно, человек попадетсЯ хороший...

— Верно, дочка, верно.

Приходил жених — немолодой, солидный, редковолосый, а то и вовсе лысый. Вел разговор культурный — про погоду, про климат, про влияние на него атомных взрывов, про международное положение... Излагал свои взгляды на жизнь. Взгляды были в общем правильные, разумные (кто же в теории их не придерживается?), но скучные до судорог в челюстях.

— Я знаете, как рассуждаю? Я рассуждаю, что не в деньгах счастье. Было бы здоровье.

«И с таким — чужим, противным — надо будет жить рядом? Ложиться в постель? Боже упаси!» — думала Вера.

Сватовство всякий раз кончалось ничем. А жених обижался: чем он нехорош? Один, особенно гадкий, скорбный, с волосами в носу, пообещал даже «ославить на всю округу». Его Вера Платоновна с наслаждением выгнала...

— Мама, отчего они все такие четвероногие? — жаловалась она. — За двуногого я бы, пожалуй, вышла...

— Где же его взять, двуногого? Подожди, авось сам придет.

\* \* \*

Из женихов главным и самым устойчивым был сосед Михаил Карпович, в прошлом хозяйственник, ныне пенсионер (это ему отошел Верин участок с плодовыми деревьями и виноградом на корню). Он вечно возился в саду, как трудолюбивый жук. Крепкий хозяин, он любил собственность, как коллекционер любит редкие вещи. И жениться-то мечтал главным образом для округления собственности: соседний обширный участок давно его соблазнял. Лично Верой, в плане любовном, он не интересовался: стар был..

— Вам, Вера Платоновна, в самый раз теперь устроиться. Лучше меня не найдете. Нынешний жених ненадежный: хап-хап, продал, уехал, а ты кукуй. Женщина вы еще мо— лодая, жить вам хочется. Я это понимаю, не препятствую — живите себе на здоровье. Бывает муж, как собака на сене: сам не ест, другим не дает. Я не такой. Мне чтобы уют был в доме, пицца хорошая. Вот вы вареники с вишнями хорошо делаете — это я люблю. А тинти-финти, фигли-мигли — пускай кто моложе занимается. Ну так как же, по рукам, что ли?

Михаилу Карповичу Вера согласия не давала, но и окончательно ему не отказывала, обижать не хотела, все шуточками отделялась. Да и помощью его она все-таки дорожила. Ходил он к ней на правах, как она говорила, «заместителя по хозяйственной части». Владел топором, отверткой. Когда надо было что-нибудь прибить, починить, призывался Михаил Карпович. Он приходил, пожилой, обстоятельный, чинил и вздыхал:

— Вот что значит дом-то без хозяина. Ну, как, не надумали еще, Вера Платоновна?

— Нет еще, Михаил Карпович, — смеялась Вера. — Очень мне моя жизнь нравится. Сама себе хозяйка, что хочу, то и делаю. Давайте останемся друзьями, идет?

— Друзьями, — бормотал Михаил Карпович. — Это вас книжки испортили. «Ах, дружба! Святое чувство!» А жизнь-то, она своего требует, чтобы все как у людей. Ох, подумайте, Вера Платоновна! Как бы вам счастья своего не упустить. Потом кусай локти, что упустила.

— Ничего, как-нибудь... Михаил Карпович удалялся, ворча:

— Гуляй-гуляй, все равно моя будешь.

А иной раз она, после особенно трудного дежурства, измученная, лежа в постели с ноющими ногами, вдруг и сама задумывалась: «А уж не согласиться ли? Все-таки опора». Но тут же отвечала себе: «Нет». И еще раз, решительно: «Нет».

Туго было с деньгами. Верин оклад маленький, к нему материна пенсия — — совсем гроши. А дом требовал денег. Очень он был прозорлив: то крышу поправить, то забор, то цистерна с водой прохудилась... Вера с Анной Савишной из одного долга вылезали, в другой влезали. Решились, не без колебаний, на крайнее средство: стали брать заказы — платья шить. В работе недостатка не было — было бы время. Приходили заказчицы — чаще всего полные, гляделись в зеркало, поджимая живот. У Веры была легкая рука на полноту, умела так скроить, чтобы скрыть изъяны фигуры. Шила не по журналам, сочиняла фасоны сама. Платья всегда были уютные, милые, какие-то радостные. На скромных белые воротнички, на нарядных — вышивка, стеклярус, блески, что-то забавное, елочное... «Как вы помолодели! — говорили ее клиенткам. — Как хорошо выглядите!» Кроила и мерила Вера, строчила и обметывала Анна Савишна — все на совесть, каждый шовчик, как бисерный... И все— таки денег не хватало. Заказы, дачники, а оглянешься — снова нет. Затеяла Вера провести газ. А на какие средства?

Заняла денег, начали копать канавы. Вдруг, неожиданно— негаданно, среди всех хлопот, еще одно событие: приехал Таля, Виталий Петрович, санаторский знакомый. Писать не писал, пропал в неизвестности, и вот — явился лично. Красивый, желтоглазый, вкрадчивый. Кольца на пальце нет.

— Принимаешь меня, Верочка? Или я не вовремя?

— Какой вопрос!

Захлопотала — радостная, праздничная, по-новому молодая. Сразу десять лет с плеч. Шепотом матери:

— Мама, это ничего, что он приехал?

— Ничего, дочка, живи в свою радость. Я ли тебя попрекну? Дай тебе бог здоровья, счастья.

— Мамочка, ты у меня сокровище, ни у кого такой матери нет.

— Полно, дочка, не хвали, а то загоржусь...

\* \* \*

Устроили Виталия Петровича в отдельной комнате, бывшей Александра Ивановича, на большой тахте под часами. После ужина легли спать — он у себя, Вера Платоновна — у себя. Легли, помолчали.

— Верочка, радость моя, зайди ко мне, — сказал Кораблев разнеженным голосом.

Босыми ногами по холодному полу побежала на зов. Смеясь от радости, легла на его твердую руку. Дура — чуть было не вышла замуж. Целую ночь тикали часы, отмеривая счастье.

Таля, оказывается, заехал на пару дней, по пути в санаторий, в Гурзуф.

— Понимаешь, Верочка, не мог тебя забыть. Другие забываются, а ты — нет. Тянет к тебе как магнитом. Глаза твои голубые так и вижу. Руки твои — веселые, добрые...

Лениво, грациозно потянувшись, он поцеловал ей руку. Вера прямо купалась в потоке давно не слышанных слов... По-прежнему не дела любви были ей важны, а слова...

Таля прожил не два дня, а целых четыре, послал телеграмму, что задерживается по болезни. Тем временем катался как сыр в масле. Обедал по-царски. Спал до полудня на пышном ложе с кружевными пододеяльниками. Каждое утро находил на ночном столике свежие розы — ради него Вера изменила своему правилу роз не срезать. Стряпала вдохновенно впервые за много лет. Вспомнила самые заветные, «подкожные» секреты старого Никодимыча: паштет из гусяной печени, суп с сыром, пирожки с шампиньонами... Таля кушал изнеженно, томно, с повадками актера, первого любовника, и говорил:

— Изнемогаю от наслаждения.

На пятый день, несмотря на изнеможение, он уехал. Веселый, нежный, чуточку лысый, уклончивый. Насчет будущего разговоров не было. Он стоял на палубе парохода, Вера — на пирсе. Он махал фуражкой, придерживая ладонью на темени распадающийся зачес...

Деньги, отложенные на газ, были прожиты. Да что газ! Будь она, женская слабость, проклята...

Вера поплакала-таки...

— Мамочка, ты меня не осуждаешь?

— Что ты, дочка, мне ли тебя осуждать?

— Именно тебе, ты всю жизнь прожила как монашка.

— А что хорошего? Плохо я жила свою жизнь.

Уехал Таля и опять не писал. Сначала ждала, а потом уже перестала.

35

Ух, как плохо было с деньгами. Газ все-таки провели — снова вошли в долги. Дом— обжора требовал-требовал, а сам почти ничего не давал. Вера продала золотую брошку, единственную свою драгоценность, запонки Александра Ивановича — дом все проглотил и не поморщился. Михаил Карпович теперь на Веру дулся, видимо за Талю (а ведь обещал свободу полную, если за него выйдет!), и по хозяйству не помогал. Хочешь не хочешь, надо было продавать часть дома. А не хотелось! И тут ей, можно сказать, повезло. Из Москвы приехала старая знакомая, давнишняя дачница Маргарита Антоновна Кунина, народная артистка, звезда московских театров. Теперь эта звезда близилась уже к закату, не по таланту (он был по-прежнему блестящ), а по состоянию здоровья. Годом к шестидесяти заболела она астмой, стало ей трудно играть на износ (иначе она не умела). Врачи посоветовали переменить климат, лучше всего — к морю. И вот она переселилась в родной Верин город, получила, в обмен на московскую, отличную квартиру на главной улице, а у Веры Платоновны купила половину низа: большую комнату с отдельным входом, с чуланом, который тоже мог сойти за комнату. Там был ее гримировальный кабинет.

Вера сначала расстраивалась, что пришлось продать часть дома, а потом вышло даже к лучшему. Маргариту Антоновну она от души полюбила. С того самого дня, когда Кунина впервые появилась в доме — еще при Шунечке. Вера вошла в столовую и увидела в кресле пожилую женщину с ярко-серыми смеющимися глазами.

— О, моя дорогая, — сказала Маргарита Антоновна глубоким, басовым, вибрирующим голосом, — какая же вы большая! Когда вы вошли, мне показалось, что вы на лошади...

Вера была покорена с первого слова. Она, как все люди с истинным чувством юмора, не прочь была посмеяться сама над собой...

В свое время Вера с восторгом приняла Маргариту Антоновну — дачницу. Теперь, с готовностью — Маргариту Антоновну — совладелицу. С готовностью, постепенно переходившей в восторг. Конечно, ей льстила огромная известность Куниной. Стоило той появиться где угодно — на улице, на пляже, — сразу вокруг нее скапливались толпы. Кунину знали все. Опять мальчишки бегали за ней по пятам и кричали: «Тэрзай меня, тэрзай!» Она останавливалась и отгоняла их мечущими молнии серыми глазами. Когда на нее нацеливались фотоаппаратами, она поворачивалась спиной и говорила: «Умоляю, снимайте сзади, там я всего лучше...» В местном театре, где ее приняли с молитвенным благоговением, она играла редко — раз в два-три месяца, и каждый раз театр был переполнен. «Кунина, браво, Кунина!!» — и на сцену летели букеты цветов, не жиденькие, как на севере, а тяжелые, основательные, падавшие со стуком. «Благодарю вас, благодарю, друзья мои», — томно вибрируя голосом, говорила Кунина, а зрители вопили пуще и пуще. Букеты доставляли на дом поклонники и поклонницы...

— Опять я со своими вениками, — рокотала Маргарита Антоновна. — Верочка, моя дорогая, приютите их, поставьте хоть в ведра...

Вообще, славу свою она любила, делая, впрочем, вид, что ее презирает. В сущности, верно было и то и другое. При случае тоже могла сама над собой посмеяться...

— Послушайте, Верочка, какой со мною произошел случай. Убедилась в правоте Пушкина.

— Ну, ну, расскажите, — радовалась Вера, предчувствуя потеху. Уж больно озорно светились большие, подведенные глаза.

— Была я вчера в вашем знаменитом театре оперы и балета. Давно мне говорили: «Сходите, не пожалеете». Пошла. Не жалею. Смотрела «Спящую красавицу». Все балерины, во главе с самой Спящей, выше средней упитанности. Когда прыгают, жиры так и трясутся. Ну, думаю, про этих не скажешь: «Летит как пух от уст Эола». Таких не Эолами, а домкратами подымать...

— Это и была правота Пушкина?

— Нет, слушайте дальше. Значит, сижу я, наслаждаюсь дурной радостью. В антракте, как полагается, вышла в фойе: людей посмотреть и себя показать. Ну, показала! Иду и страдаю от своей славы: все на меня глаза так и пялят. Больше, чем всегда: прямо плаваю на волнах обожания. И досадно, и приятно. И тут подходит ко мне одна и тихо, на ухо говорит: «Товарищ Кунина, я очень извиняюсь, но у вас сзади небольшой беспорядок». Оглянулась и что же вижу? Ужас! Сдуру напялила юбку наизнанку. Это бы еще ничего, беда в том, что она у меня с изнанки заплатана красным. И зад у меня, как у павиана!.. Ах ты, черт, думаю: вот тебе и слава! Не зря сказал Пушкин: «Что слава? Яркая заплатка...»

Вера помирала со смеху. Вообще, она обществом Маргариты Антоновны наслаждалась безмерно. Любила ее и на сцене, и дома. Дома даже больше, чем на сцене. Там и там Кунина играла — не могла не играть. Но на сцене она оставалась в пределах одного, прекрасно вылепленного, но единственного образа. Дома она играла с великолепной раскованностью, то и дело переходя из образа в образ. Могла делать это даже в пределах одной фразы: начинала ее в одном образе, кончала — в другом. Стоило видеть, какую серию спектаклей разыгрывала она, скажем, на базаре, покупая рыбу в рядах. Лорнет, прижатый к серому глазу, томный, ныряющий, барственный голос: «А она у вас, милая, не с душком?» Торговка, естественно, громко протестует против такой клеветы на ее товар: «С душком?! Чтобы я так здорова была, как моя рыба с душком!» И тут, внезапно, полное превращение: вместо томной дамы с лорнетом кричит как будто бы другая торговка рыбой — вздорная, сварливая, отлично владеющая всем набором южных побранок. Минуты две — три длится препирательство, за которым с интересом следят соседки по рыбному ряду. Преимущество явно на стороне Куниной, с ее поставленным голосом. Еще минута — и удаляется с рынка усталая, низенькая, скромная старушонка...

Потребность играть была в ней неистребима. Даже когда нападала астма, Маргарита Антоновна страдала броско, с пафосом. В груди у нее начинала сипеть шарманочка, каждый выдох вырывался со свистом. Она играла умирающую — искренне, но все же играла...

Приступы чаще всего бывали по ночам. Маргарита Антоновна стучала по трубе отопления — для этого у нее на ночном столике всегда лежали клещи. Услышав стук, прибежала Вера. Маргарита Антоновна говорить не могла, объяснялась жестами. Она рисовала в воздухе чайник, льющую воду — настолько реально, что даже как будто слышалось бульканье. Вера бежала в кухню, грела воду, наливала в таз, ставила туда крупные, неповоротливые ноги

Куниной. Сидя в кресле, с ногами в тазу, Маргарита Антоновна погружалась в эффектное умирание. Она, столько раз умиравшая на сцене, и тут не могла отказаться от сценичности.

— О боже мой, боже, — сипела она, — это конец. Итак, мне суждено умереть молодой... Имейте в виду, что я вам завещаю свои полниза...

Вера, испуганная, бежала к соседу Михаилу Карповичу (там был телефон), вызывала «неотложку». Маргарите Антоновне делали укол, ей становилось легче. Приоткрывались страдальческие глаза, рука тянулась поправить взмокшие кудри.

— О, моя дорогая, — говорила она полузадушенным, но звучным шепотом, — вы моя спасительница! Не знаю, что бы я делала без вас! Возьмите мою бриллиантовую восьмерку...

— Что вы, Маргарита Антоновна, бог с вами, не надо мне никакой восьмерки...

— Не спорьте. С умирающими не спорят.

«Восьмерка», о которой шла речь, была старомодная брошь из довольно крупных бриллиантов в платиновой оправе. Она досталась Маргарите Антоновне от какой-то прабабушки; носить ее на груди в наше время было бы все равно что водить на цепочке слона. Эту вещь Маргарита Антоновна время от времени дарила Вере. Она была щедра, но забывчива. Отдаст, например, на улице все свои деньги кому-нибудь, кто об этом и не просит совсем, забудет и ищет по дому пропавшую сумму. Смешнее всего получилось с квартирой. Убедившись, что городская квартира ей ни к чему — все равно пустует, — Маргарита Антоновна подарила ее театру. Подарить оказалось не так-то просто (в нашем быту такие подарки не предусмотрены), но в конце концов она своего добилась. В квартиру въехали новые жильцы, Маргарита Антоновна забыла об этом, в рассеянности пришла домой, открыла дверь своим ключом и, только увидев новую обстановку, вспомнила, в чем дело...

А с бриллиантовой восьмеркой творились вообще чудеса. Даже забывчивая Маргарита Антоновна подозревала, что тут не все чисто. Подаренная восьмерка каждый раз возвращалась к хозяйке, на ее гримировальный стол. Там, в клубах париков, красок, украшений и рисовой пудры, можно было потерять и найти что угодно. Маргарита Антоновна вообще была мастерица терять. Путь ее был усеян окурками, квитанциями, шляпами и банкнотами. Теряла и искала, находила, опять теряла. И каждая потеря, каждая находка — как мастерски сделанный этюд из книги Станиславского «Работа актера над собой». Впрочем, Станиславского Маргарита Антоновна терпеть не могла за его, как она выражалась, «лошадиную серьезность» («Надо же было ухитриться сделать из игры — работу!»). Для Маргариты Антоновны, напротив, всякая работа была игрой — даже когда она стирала носовые платки. «А не в том ли секрет счастья, — думала, глядя на нее, Вера, — чтобы из работы сделать игру?» Кое-чему она здесь училась, кое-чему уже выучилась...

36

В целом, несмотря на трудности, жизнь была неплохая, а если взглядеться — и совсем даже хорошая. У Веры такая была особенность: стоило ей хорошенько взглядеться, и появлялись светлые точки. Роились, как звездочки. В каждом плохом позволяли найти хорошее.

Денег нет? Разумеется, плохо. Но зато какая радость, когда они наконец появляются! Дважды в месяц у Веры был праздник зарплаты. Когда она шла домой с получкой, небольшая, но тугая пачечка денег весело жгла ей сумочку изнутри. Не чьи-нибудь, — собственные, лично заработанные, хочу — трачу так, хочу — иначе! Шла мимо магазинов и мысленно тратила деньги. Все ее привлекало: белье нежных расцветок с пенными кружевами, пестрые косынки,

блестящие серьги — Вера была падка на блеск, как сорока. Все это было как бы доступно, на миг, воображенный, — ее.

— Мама, я опять сегодня принарядилась. Всю дорогу шла и покупала, покупала...

— Что же купила-то? — спрашивала Анна Савишна, улыбаясь глазами.

— Ох, и не говори! Кабачки, постное масло, лук, селедка. С бриллиантами решила пока повременить. Не все сразу.

— Правильно, дочка, не все сразу.

— На журнал подписалась, «Иностранная литература». Это ничего, мама? Такое расточительство...

— Что делать, коли душа требует.

— А вот и тебе подарочек. Вынимался какой-нибудь кошелек, или носовой платочек, или игольничек. В дни Вериных получек каждый в доме получал хоть пустячный, а подарочек, даже Кузьма — пузырек валерьянки.

А с садом как получилось? В свое время ох как жалко было, когда отошел он к Михаилу Карповичу со всеми службами — летней кухней, курятником, гаражом (Александр Иванович гараж построил, только машины купить не успел). А вдумаешься — и появляются светлые точки. В самом деле: ухаживать за садом не нужно, а фрукты Михаил Карпович даром приносит.

— Кушайте, Вера Платоновна, сколько душе угодно. Ну, как, еще не надумали? —

— Нет еще, погожу немножко...

Видно, он и сам теперь не больно-то надеется на Верино согласие, да, пожалуй, и не очень его жаждет, а спрашивает так, для порядку...

У самой Веры, после того как отдала участки, остался совсем маленький клочок земли. Зато какие на нем розы, как пышно заросла беседка, какая над ней благоуханная луна летними вечерами! Полить такой участок недолго, подстричь — одно удовольствие. Перед сном не падаешь с ног, можно еще побаловать себя, почитать в постели.

А дом? Уж как горевала, когда пришлось продать половину низа! Думалось: свое, заветное — в чужие руки отдать! А теперь даже рада, что так получилось. Рядом — Маргарита Антоновна, близкая, веселая, милая, талантливая. Спасибо ей, в театре теперь Вера бывает часто. Скажет в кассе «для Куниной» — и ей почтительно вручают контрамарку. Иногда ходит одна, иногда — с кем-нибудь из сослуживиц. А иной раз и сама Анна Савишна раскачается. Ходит, впрочем, только на спектакли, где играет сама Маргарита Антоновна; глядя на нее, смеется до слез и приговаривает: «Наша-то, наша!»

Дачников, правда, селить теперь негде. Поскучнее без них, зато и забот меньше. При нынешней Вериной жизни тяжелы были бы ей еще и эти заботы — ив гостинице обслуживать, и дома. А самых близких она всегда разместит — не у себя в комнате, так на чердаке. Чердак все еще не достроен, по нехватке денег, порядочный дачник туда не полезет, зато живут там почти каждое лето генеральские сыновья, Пека и Зюзя, которые вымахали выше притолоки, но все еще ссорятся и даже дерутся. Эти ребята ходят у Веры в «приемных племянниках»,

помогают ей поливать розы и ездят на базар за покупками. Когда на чердаке идут баталии и падают с грохотом какие-то вещи, Вера Платоновна говорит изумленному гостю: «Не обращайтесь внимания, это у меня домашний Синг-Синг».

А вот Маша Смолина — самая близкая из близких — та после похорон так и не приезжала. Жила она теперь за тридевять земель, на Дальнем Востоке; тут не больно-то разъездишься, через всю страну. Увез ее туда один из пациентов, по профессии художник, влюбленный в дальневосточную природу, но изображавший ее настолько «обобщенно», что признания не получил. Кажется, впервые на Машиной пути появился «принц Уэльский», но уж лучше бы он был не принц — характер у художника был ах какой, гонор чудовищный, заработков никаких, перспектив — тоже. Был он лет на двенадцать моложе Маши, о чем она писала тягостно-шутливо, упрекая себя в «старческой глупости». Тем не менее жили они с художником прочно и всерьез, даже зарегистрировали брак в загсе (раньше Маша таких церемоний не признавала).

Память о Маше, тревога о ней жили в Верином сознании, но как-то отдаленно, не настоятельно — уж очень много было здешних, сегодняшних, неотложных забот. Даже дети, Вовус и Вика, когда-то такие близкие, тоже как-то отдалялись, выделялись, словно сквозь кисею, особенно Вовус, запомнившийся в последний его приезд взрослым, высоким, высокомерным... Иногда вспоминались, и то не часто, Викины ночные глаза, и тогда Вера чувствовала легкий укол в сердце...

Сегодня ее больше всего занимала работа. Работа была как требовательный, строгий, придирчивый муж, с которым трудно жить, но которого все-таки любишь. А трудно было подчас, и очень. Изнурительное раннее вставание, толкотня по автобусам, круговорот мелких гостиничных дел: кто-то напился, пропала простыня, протекла крыша, приехала комиссия... Иногда Вера приходила домой полумертвая. Дрожали руки, ключ не попадал в скважину... Только бы добраться до постели, рухнуть и спать. Но это были минуты. Стоило ей умыться горячей водой, переодеться в домашний, с птицами, японский халат, сунуть ноги в бархатный уют разношенных тапочек, как появлялись светлые точки. «Верочка, дорогая, — рокотал глубокий голос Маргариты Антоновны, — а я заждалась, ни за что не хотела без вас обедать...» Слышались легкие войлочные шаги Анны Са-вишны, спешившей на кухню греть обед. Усталость таяла. За столом Вера сидела уже мужественно улыбаясь. Маргарита Антоновна бурно восторгалась всем, что подавалось на стол: «Боже мой! Что за рыба! Это какой-то копченый ангел — нечто небесное!» Белая скатерть, хрустальные подставки для ножей и вилок, салфетки в серебряных кольцах (на всей этой старомодной бутафории очень в свое время настаивал Шунечка) создавали бодрящее чувство праздника. Вот уже Вере и не хотелось спать. А все — улыбка. Та самая, которой требовал от нее Шунечка: «Пойми, я не хочу никакого притворства. Но управляй своим настроением. Улыбнись — и тебе самой станет весело». Теперь она понимала, что это правда.

37

А на работе в общем-то было хорошо. Даже интересно. Пустяковая должность — дежурная по этажу, но Вера и на этой должности умела себя проявить. Постояльцы любили ее, баловали, наперебой за нею ухаживали. Оставалось это, конечно, на уровне слов, но Вере слова-то и были нужны. Книга жалоб и предложений была полна благодарностей по адресу милой, любезной, заботливой хозяйки третьего этажа (некоторые, от избытка чувств, писали даже в стихах). Директор гостиницы Борис Григорьевич, болезненно тревожный немолодой человек с язвой кишечника, ходивший на работу с бутылкой кефира в портфеле, очень ценил Веру Платоновну и всячески ее поощрял: представлял ее к премии ежеквартально, повесил ее портрет на Доску почета. Слабый, необразованный, неодаренный, он жил в непрестанной тревоге человека,

которому вот-вот дадут коленкой под зад. Каждый день он переживал как небольшую, карманного размера, трагедию. Вера Платоновна была ему как спасательный круг.

В гостинице все были уверены, что тут не без амурных дел — и напрасно, амур здесь и не ночевал. Просто привязанность слабого к сильному. Может быть, даже ребенка ко взрослому. Борис Григорьевич, как всякий человек, не приученный ни к какой инициативе, был ребячлив и робок. С его лица не сходило детское изумление: что это вокруг происходит? И как вообще может что-то происходить? В сложном хозяйственном быту, где так много неписаных правил, он судорожно хватался за писанные и вечно попадал впросак. Многие правила и впрямь устарели, ловкие люди умели их обходить, а он — нет. Призрак уголовной ответственности терзал его ежечасно. И зачем только он взялся не за свое дело? Повернись жизнь иначе, был бы он научным работником. В свое научное призвание он верил неукоснительно, хотя ничему никогда не учился. Когда очень уж обступали тревоги, он брал телефонную трубку и набирал «три ноль ноль». «Третий этаж слушает», — отвечал нежный и веселый, с картавинкой, голос — и ему становилось легче.

— Вера Платоновна, зайдите ко мне на минутку, если можете.

Стук по лестнице — не легких, а каких-то проворных, веселых шагов, и она здесь. Милая!

— Садитесь, Вера Платоновна. Я тут с вами хотел посоветоваться...

\* \* \*

Вынимались документы, счета, предписания. Для Бориса Григорьевича это был лес дремучий. Вера Платоновна всегда умела во всем разобраться, истолковать, присоветовать...

— Вот, новое предписание: в холлах иметь жардиньерки. Стыдно сказать — я не знаю, что это такое. Образования не хватает...

Вера Платоновна знала, что такое жардиньерка, но вполне допускала, что занятой человек может этого и не знать. Она сразу набрасывала на бумаге эскиз жардиньерки, как ее видела, соображала, где ее можно заказать, сколько это будет стоить. Слушая ее, Борис Григорьевич сам на время становился оптимистом. Он успокаивался, размякал, начинал откровенничать. Сложно, сложно все на свете, и работа, и семейная жизнь... «Да, сложно», — кивала, соглашаясь, Вера Платоновна, но ему самому становилось уже не так сложно. А в гостиничном быту, по ее совету и с ее помощью, появлялись милые новости, что-то веселое, домашнее, нестандартное, и всегда в пределах сметы. Решетка с вьюнком наискось поперек окна, две астры в керамической вазе, румяное яблоко на тарелке... «А яблоко предусмотрено?» — тревожился Борис Григорьевич. «Из соседского сада принесу», — говорила Вера.

Она хозяйничала с радостью, вкладывая в «предусмотренные» мелочи всю свою бытовую изобретательность, все свое умение из пустяков создать что-то... Все было бы хорошо, если б не старший администратор Алла Тарасовна Зайцева, крепко немолодая женщина со смуглым граненым лицом и такими густыми, сросшимися бровями, что они сливались в одну. Борис Григорьевич боялся ее как огня. Зайцева была из тех администраторов, которые свою малую, временную власть над людьми воспринимают как великую, вечную. Чиновничий абсолютизм. «Подождете», — отвечала она на робкие напоминания о себе усталого, чемоданом обремененного человека. «Я уже три часа жду». — «Подождете и четыре». То, что Борис Григорьевич советовался с Верой через ее, старшего администратора, голову, раздражало ее безмерно. Раздражала ее и сама Вера, ее манера обращения с постояльцами, в которой ей чудилось что-то чуждое, буржуазно-американское. Раз дошло до нее, что дежурная третьего

этажа принимает от проживающих цветы и даже — о ужас! — конфеты.

— Это не наши нравы, — сказала она Вере Платоновне.

— Да, это не ваши нравы, — дерзко ответила Вера.

— Я говорю «не наши» не в том смысле. Не лично мои...

— Я тоже говорю: не лично ваши.

— Берегитесь, Ларичева, я вас предупреждаю. Это плохо кончится.

— Спасибо, Зайцева, за предупреждение.

Может быть, и зря она так круто, но очень уж ее раздражала сплошная бровь...

Алла Тарасовна написала-таки донос в управление: дежурная третьего этажа Ларичева пренебрегает своими обязанностями, тратит время на флирт с проживающими, принимает от них ценные подарки. Приезжала комиссия, проверяла «по существу вопроса», вымотала нервы директору, персоналу, самой Вере Платоновне... Директор, разумеется, поджал хвост. Дело могло обернуться плохо, но вмешался некий «ответственный», как раз в то время проживавший в номере люкс. Услышав громкий разговор у стола дежурной, он выплыл из люкса с висящими подтяжками (как корабль с повисшими парусами) и так отчихвос-тил председателя комиссии, что у того затряслись поджилки. Мало того — потребовал жалобную книгу и занес туда: 1) жалобу на работу комиссии и 2) пламенную благодарность дежурной В. П. Ларичевой. «А что такой женщине хочется подарить розы, то в этом она не виновата. Надо всем брать пример с нее в смысле обаяния». Комиссия вынесла благоприятное решение («факты не подтвердились»), а Алла Тарасовна так огорчилась, что даже слегла. Прошел слух, что она собралась на пенсию... Директор, ликуя мышиной радостью в отсутствие кота, назначил временно старшим администратором Веру Платоновну. «А что, если не временно?» — думала она с волнением. Во всяком месте своя табель о рангах; для Веры должность старшего администратора, с ничтожным преимуществом в зарплате, была предметом честолюбивых мечтаний ничуть не меньше, чем звание члена-корреспондента в других кругах...

— Дорогая, вы созданы для руководящей работы, — говорила ей Маргарита Антоновна своим убедительным голосом. — Я бы, не задумываясь, назначила вас директором театра, а то и больше...

— Да бог с вами, — отнекивалась Вера, — мой предел — старший администратор.

— Не говорите. Я лучше знаю. Вы большой человек.

...Большой человек? Смешно, но приятно. Вера и сама чувствовала в себе какие-то способности, вроде сложенных крыльев, которые хотелось расправить. Иногда, на сон грядущий, она позволяла себе помечтать. Вот ее назначают старшим администратором... Директор полностью ей доверяет. Она делает в гостинице все по-своему. Приезжает комиссия, поражена идеальным порядком, уютом, выдумкой. Отмечает работу директора. «Нет, — говорит Борис Григорьевич, — я тут ни при чем. Это все наш старший администратор Вера Платоновна Ларичева». Комиссия докладывает министру. Приказ с благодарностью. Денежная премия: месячный оклад. Нет уж, мечтать так мечтать: двухмесячный. Вот когда куплю те янтарные бусы... А может быть, воротник из норки? Хватит на то и другое. И какая же ерунда лезет в голову, господи прости...

Прошло уже пять лет без Александра Ивановича. Вера привыкла к своей новой, самостоятельной жизни и о прошлом вспоминала нечасто. Дважды в год — в день рождения и в день смерти Шунечки — ездила на кладбище, возила туда цветы, сидела задумчиво на скамейке у могилы, но не плакала — вообще скупее стала теперь на слезу. Уходя, вздыхала уже не горестно, а легко. Что ни говори, сложилась ее вдовья жизнь неплохо, многие могли бы позавидовать. Сама себе хозяйка, ни от кого не зависит, долгов почти нет. И хорошо, что не связала себя, замуж не вышла. А что нет в ее жизни любви — что поделаешь, пора уже забыть про любовь. Скажи спасибо, что есть здоровье, что ноги носят, что есть работа, мать, Маргарита Антоновна, поклонники... Нет, все-таки молодец ты, Вера, и жизнь хороша...

В таком настроении возвращалась она с кладбища. Дом ее ожидал, светясь в темноте розовыми окнами. Сейчас войду, мать захлопочет, разогревая обед, зазвучит из соседней комнаты богатый голос Маргариты Антоновны: «Верочка, вы? Зайдите сюда, моя прелесть». Хорошо дома!

...В доме стоял запах папирос, не тех «гвоздиков», что курила Маргарита Антоновна, а настоящих, толстых, типа «Казбек». Шунечка курил «Казбек»... Эх, Шунечка... Только что вспоминала без боли, а запахло «Казбеком» — и дух захватило...

Из комнаты навстречу ей шагнул человек среднего роста с папиросой в отставленной левой руке... Боже мой, неужели Таля? Так и есть — он, но до чего изменился, обрюзг, поседел, облысел. Но до чего же все-таки он, и, боже мой, неужели я его люблю?

— Принимаешь? — спросил Таля со знакомой ужимкой.

— Спрашиваешь!

Тут он ее обнял, поцеловал, прижал к себе. Что-то отчаянное было в этом объятии. Первые полсекунды Вера еще помнила о папиросе (упадет, прожжет ковер), но дальше обо всем забыла и поплыла...

Кончился поцелуй.

— Ну, как ты? — спросила Вера. Не так надо было спрашивать...

— Я-то? Ничего. Вот, приехал тебя повидать. Не возражаешь?

— Разумеется, нет.

— Голоден как собака. Покормишь?

— Что за вопрос? Когда я тебя не кормила?

— Ну-ну.

Вера пошла на кухню. По дороге ее перехватила Маргарита Антоновна и спросила театральным шепотом:

— Кто такой?

— Потихе, пожалуйста. Один человек. Друг.

— Читай: любовник.

— Ну да. Только потише!

— Как это хорошо! Люблю любовь. Я за вас всю ночь молиться буду.

— Не надо за меня молиться. Идемте, познакомлю.

— Умираю от любопытства. Но нет. Буду тверда. Не хочу мешать. «Скажите Диане, дорогой моей Диане, что ее спас граф Пум де ля Пум— Пум...» — «Боже мой, неужели вы ее брат?» Но скитальца уже не было на пароходе.

— Что это? — спросила Вера в тягостном недоумении.

— Из какой-то дурацкой мелодрамы. Забыла фамилию графа. Тоже не хотел мешать. Исчезаю, исчезаю...

На кухне хозяйничала мать.

— Мама, Виталий Петрович приехал. Надо его накормить.

— А я уж обед разогрела.

— Мама, ты у меня сокровище.

— Молчи, дочка. Я что? Мое дело старое. Ты только счастлива будь, а я все подам, принесу.

Обедали вдвоем. Таля сидел напротив, как будто и не было этих четырех лет. И не так уж он постарел. Свет от кружевного абажура падал ему на лицо, и оно, испещренное светлыми точками, теперь казалось совсем молодым. Ел жадно, как едят люди, давно не обедавшие дома. Вера наливала ему суп, накладывала второе... Когда женщина кормит любимого человека, это не простой акт кормления — гораздо больше. В каком-то смысле это даже больше, чем акт любви...

Наелся, закурил. Вера унесла посуду, вернулась. Таля раздавил папиросу, встал, протянул к ней руки. В эти протянутые руки она упала и осталась в них до утра.

Длинная ночь. Часы тикают, часы идут, лунный свет перемещается по полу. Вере в лунные ночи всегда не спится — и вот и сейчас она не спит, думает. Внутри у нее любовь. Рядом спит Таля. Его щека небрита, дыхание несвежо. «Все равно я его люблю, — думает Вера. — Только почему он так мало говорил? Почему они, мужчины, так скупы на слова? И что они берегут, скряги? Дали бы мне волю, я бы рассказала ему, как я его люблю»...

Утром Вера ушла на работу — Виталий Петрович еще спал. Целый день мечтала о встрече. Но когда вернулась, Кораблев был мрачноват, рассеян, еле поцеловал руку. К обеду спросил водки.

— Талечка, нет у меня. Вот глупая, забыла. Давай сбегаю. Я быстро.

— Не надо. Это я так спросил.

Ел вяло, барабанил пальцами по столу, что-то насвистывал, хекал горлом, будто давясь. После обеда взял книгу, не читал, только перелистывал. Зашла Маргарита Антоновна, Вера их познакомила. Кунина была великолепна — в лучшем своем платье, в парикмахерской завивке,

глаза — чудо искусства (страшно было, как бы они не обрушились). Играя глазами, голосом, торсом, Маргарита Антоновна исходила обаянием. Камень бы не устоял. Таля даже не улыбнулся. Словно ему все равно было — Кунина, не Кунина... Маргарита Антоновна была несколько уязвлена, но украдкой шепнула Вере: «Я вас понимаю — это мужчина!» Вера по молодому вспыхнула — от щек через шею на грудь — Маргарита Антоновна ушла. Остались вдвоем с Талей. Вера ждала: когда же слова? Слов так и не было. Легли молча.

А на третий день Кораблев пропал. Ушел, пока Вера была на работе, к вечеру не вернулся, не ночевал. Вера терзалась, воображая себе несчастный случай: скрип тормозов, кровь на асфальте... И ведь не сообщат, никто не знает, что Таля у нее живет. Ночь не спала. Утром звонила в милицию от соседа Михаила Карповича. Сказали, что автомобильных катастроф за истекшие сутки не было, но что в морге есть один труп в тапочках мужчины лет сорока. В тапочках? Таля ушел в сапогах... Михаил Карпович смотрел косо, ее поведения не одобрял. Ушла на работу, весь день терзалась, представляя себе труп в тапочках. Вечером Таля вернулся — помят, мрачен, пахнет вином. Вера выяснять отношения не стала: утро вечера мудренее, завтра поговорим.

Назавтра — воскресенье, утро солнечное, ветер с моря разумный, свежий, — самое время поговорить. Ровно, ласково.

— Послушай, Таля, где ты пропадал? Почему не пришел ночевать?

Кораблев горько ощерился. Был он в это солнечное утро, не под стать ему, тяжел, угрюм. Щетина на щеках — пестрая от седины.

— А что, мне уж отсюда и уйти нельзя?

— Можно, но лучше предупреждать, что не вернешься на ночь.

— Прекрасно. Отныне буду предупреждать. Что-нибудь еще тебя интересует?

— Да, конечно, Я бы хотела знать, на сколько времени ты приехал, что собираешься делать дальше?

— Многого ты захотела. Я и сам этого не знаю.

— Все-таки объясни мне свои обстоятельства. — Отлично. — Кораблев вскочил и зашагал по комнате. — Будете иметь объяснение. Так вот, обстоятельства мои неважнец. Из армии меня выперли.

— За что?

— Разве это имеет значение? Факт, что выперли. Сейчас я гражданское лицо, безработный. Устраиваю я тебя в таком виде?

— Ты меня устраиваешь в любом виде. На заработок твой я не рассчитываю.

— А вот жена моя другого мнения. Развелась.

— Ну и бог с ней, это ее дело. Не будем о ней думать.

— Не будем. Ты у меня одна. Знаешь, как я...

«Люблю тебя», — не договорил. Голову уронил на стол и сказал сквозь зубы:

— ...устал.

Видно, и правда, человек устал. Вера устыдилась — до любви ли ему сейчас? Не приставать, оставить в покое, пускай отдохнет после переживаний.

К обеду опять попросил водки. Вера сбегала к соседу Михаилу Карповичу, заняла пол-литра. Он дал неохотно: «Эх, дешевите себя...»

По тому, как Кораблев налил рюмку, как поглядел ее на свет, понюхал, опрокинул в рот, было видно, что он пьет профессионально... У Веры заныло внутри. Пьянство как таковое на ее пути еще не встречалось. Шунечка выпивал, но по делу...

А Кораблев, как все привычно пьющие, пьянел быстро. Трех рюмок было достаточно, чтобы его повело. Он понес пространную, нудную чепуху. О чем — понять было невозможно. Какие-то соседи, сослуживцы, квартиры, начальство... Все время перескакивал с предмета на предмет. «Он, понимаешь, стоит. Она, с бородой, не та, а которая раньше была. Я говорю: „Что?“ А у него машина...» Он хихикал, прищелкивал пальцами, переходил на английский язык, которого не знал вовсе. Где — то, в мутном потоке его речей, можно было уловить, что женщин было две, а может, и больше: «Моя законная зануда. А та, незаконная, муж с бородой, тоже зануда. Все они зануды», — и считал по пальцам. Кто-то его обидел, кто-то от него отвернулся, кому-то он грозил кулаком. «Только ты одна», — говорил он Вере, называя ее почему-то Софой. Вдруг, шатаясь, бросился к ее ногам, обнял стул вместе с ногами, заплакал.

— Таля, успокойся, выпей воды.

— К черту воду. Воды я не видал!.. А ты меня не бросишь, ты?

— Не брошу, успокойся. Встань. Вдруг он заговорил почти связно:

— Помнишь Карельский перешеек? Белая ночь, комары... Как мы друг друга любили! Если бы не она... Он выругался. Красноглазый, он был страшен.

— Таля, умоляю тебя, ложись спать.

— Я не могу спать. У меня бессонница. «Когда для смертного умолкнет шумный день...» Кто это сказал? Пушкин! Я культурен. А он не читал Пушкина. Я ему прямо так и сказал: вы мой начальник, но вы осел, вы не читали Пушкина. А она...

Еле уговорила его лечь в постель. Лег, захрапел сразу, как заведенный.

Вера пошла ночевать к матери в «каюту-люкс». Легли валетом, как когда-то с Машей. Обе плохо спали. Утром Вера ушла — Кораблев еще спал. Вернулась — он был тих, пристыжен, молчаливо галантен. Всклакивал, подавал вещи. Вечером, по предложению Маргариты Антоновны, играли втроем в преферанс. Таля проиграл рубль с копейками, был смущен, мялся. Вера за него заплатила.

Два дня прошли ни шатко ни валко: трезво, угрюмо. На третий день опять стал просить водки, да как-то нахально, злобно: «Что тебе, жалко для меня трешки? Не думал я, что ты скупа!» Вера, страдая, сбегала за бутылкой — и повторилось все сначала, как по нотам: быстрое, глупое опьянение, скачка мыслей, обнимание стула, слезы о Карельском перешейке, уговоры, укладывание, храп...

— Опять набрался? — осторожно спрашивала Анна Савишна.

— Опять, мама.

— Ох, беда! Зачем ты ему водку носишь?

— Боюсь, обидится, уйдет.

— Господи, напасть какая! Да что делать? Сердцу не прикажешь.

«Как это не прикажешь? — думала Вера. — На то я и человек, чтобы сердцу приказывать».

Вот и приказывала сердцу, а оно не слушалось, ныло...

Следующий раз, когда Кораблев попросил водки, она решительно отказала. Все ее привычное, десятилетиями взращенное гостеприимство в ней возмущалось, но — отказала. Он надулся, свистел, к вечеру ушел, вернулся пьяный.

— Таля, где ты пил? И на чьи деньги?

— Не на твои. От тебя копейки не получишь. И вообще, я думал, ты меня понимаешь! Черта с два. Ты не женщина, ты паук.

39

Так и пошло. Два-три дня трезвости, и опять срыв, водка, мрачное буйство, с каждым разом все грубее, бесцеремоннее... Трезвый Кораблев был слащаво смиренен, каялся, клялся не пить. «Ну, поверь мне, поверь!» Она сначала пыталась верить, а потом уже и не пыталась. Все это перерастало в какой-то сумрачный ритуал. В дни, когда Кораблев не пил, они с Верой ложились вместе. Радости ей от этого не было. Был он молчалив, рассеян, быстро засыпал, во сне стонал, мучился. А в дни, когда он был пьян, она ночевала у матери, уже не валетом, а на раскладушке. «Раз уж это становится бытом, — шутила она, — надо себе обеспечить минимальный комфорт». А это именно становилось бытом... И препротивным. Прошло два месяца, три — перемен не было. Вера отводила душу в беседах с Маргаритой Антоновной. Ту хлебом не корми, только дай поговорить про любовь.

— Главное, не могу понять саму себя, — жаловалась Вера.

— О, моя дорогая! Любовь это загадка. Всю жизнь думаю — целые умственные трактаты — и никак не могу решить: благодать она или проклятие? Не боритесь с собой. Любите, пока жива любовь.

— Не знаю, жива ли она. Скорее всего, уже нет.

— Тогда устройте ей пышные похороны...

Вопреки советам Маргариты Антоновны, Вера боролась с собой и, кажется, поборолась. В одно воскресенье решила твердо и окончательно поговорить с Талей, выяснить отношения. Шунечка этого терпеть не мог («Вот так-то и теряют мужей!»), но что поделаешь, если иначе нельзя. Таля сидел у стола, трезвый, тихий, небритый, и разгадывал кроссворд.

— Верочка, что это такое: предмет искусства, начинается на "а", шесть букв?

— Таля, нам нужно поговорить.

Он вздрогнул, как побитая собака, — всем телом.

— Пойми, — сказала Вера, — я больше не могу.

— Да знаю, я вел себя безобразно, бессовестно. Клянусь, это в последний раз. Стану другим человеком. Ты мне веришь?

— Нет, но дело не в этом. Как ты думаешь жить дальше?

— Не знаю.... Мне необходимо отдохнуть. Я устал, понимаешь? Все от меня чего— то требуют. Жена... Начальство... Теперь — ты...

— Я ничего не требую. Я, как друг, хочу тебе помочь.

— Мне нужна любовь, а не дружба, — напыщенно сказал Кораблев.

— Пусть будет любовь.

— Ты меня любишь?

— К сожалению, да.

— Так не любят. Когда любят по-настоящему, все готовы сделать для любимого человека. А я что от тебя вижу? Одни нравоучения. Никакой заботы.

Это было так обидно, что Вера заплакала.

— Не плачь, любимая, — сказал Таля, и так сказал, что у нее зашлось сердце...

Через неделю опять пропал, на целых две ночи. Вернулся мятый. Снова каялся. Да что тут говорить? Тысячи пьяниц каются и клянутся, клянутся и каются. Вера окончательно поняла, что и тому и другому грош цена. А главное, с каждым разом казался ей Кораблев все более глупым. Ничего не поделаешь — глуп...

— Увы, моя дорогая, — говорила Маргарита Антоновна, — тут ничем не поможешь. Есть французская поговорка: «*quand on est mort, c'est pour longtemps, quand on est bete, c'est pour toujours*». То есть когда человек мертв, это надолго, когда глуп — навсегда.

— Понимаю. По-русски это короче: пьяный проспится, дурак — никогда. Показался сперва двуногим, а сейчас — на всех четырех... Ну, а делать-то что?

— Надо подействовать на его воображение. Скажите ему...

Тут следовал мастерски разыгранный этюд на тему: «Убитая горем жена убеждает беспутного мужа начать новую жизнь». Со становлением на колени, ломанием рук... Вера смеялась помимо воли, вытирая слезы с похудевших щек.

— Смех смехом, а все-таки что делать?

— Купите ему билет на поезд.

— Куда?

— Туда, где он прописан. Человек в нашей стране должен быть где-то прописан. У него, кажется, есть жена? Отправьте его к жене!

— Она с ним развелась.

— Это плохо. Жена отпадает. Может быть, любовница?

— Кроме себя, никого не знаю.

— Плохо. Пойдите-ка.... Блеснула мысль. Сейчас модно ездить исправляться на целину. Отправьте его на целину. Он там исправится.

— Не поедет...

В общем, самой надо было решать. Никто не поможет. Машу бы сюда — посоветоваться... Но Маша далеко, пишет редко и сама-то по уши в глупой любви. Нет, никто не поможет — бери себя в руки, решай.

— Ну, ладно, Таля, даю тебе последний шанс. Еще раз напьешься — уходи из моего дома и больше не приходи.

— Шутишь? — спросил Кораблев, лукаво прищурив глаз. Он был трезв и относительно весел.

— Нет, не шучу.

— А любовь?

— Обойдусь без любви.

— Смотри, пожалеешь.

Надулся. Когда следующий раз пришел пьяный, Вера уложила его спать, а на другое утро сказала:

— Все. Вот тебе деньги на дорогу. Уезжай сегодня же. И не возвращайся.

— Вера, послушай...

— Слушать не буду.

— Но ты подумай...

— Не подумаю.

— Будешь жалеть!

— Не буду.

Ушла на работу. А ведь соврала, что не будет жалеть, — еще как жалела. Каялась, что не взяла в руки, не перевоспитала... Другие же перевоспитывают!

...И за примерами ходить недалеко. Взять, скажем, Соню Хохлову, дежурную четвертого этажа. Молодец женщина! Лет ей уже под пятьдесят, а не скажешь, — складная, свежая, подтянутая. Муж — бывший летчик, в отставке по болезни. Больно ударила его эта отставка, не мог примириться, что не у дел. Устроился по знакомству каким-то регистратором, работа, как говорится, «не бей лежачего». А ему подавай дело — привычное, кипучее. От обиды и безделья начал пить, прогуливать. Долго терпели его на работе, временами он был совсем приличным

человеком — добрый, обаятельный, пока не впадал в запой. Терпели-терпели, но все же наконец выгнали за пьянство. А у них с Соней трое детей: два сына и дочь, тогда были еще маленькие. После того как выгнали, муж запил вовсю, опустился до предела, пропивал даже банки с вареньем, что ей удавалось для детей на зиму заготовить. Над ней издевался, даже бил (правда, не часто). Как ей удалось все это вынести: стыд, и побои, и боль, но не развалить семью, а главное, не разлюбить своего Васю, — непонятно! Сейчас старший сын женат, работает на заводе, депутат райсовета — молодой, но очень уважаемый, серьезный человек. Дочь кончила курсы английского языка, летает стюардессой, премию получила на всесоюзном конкурсе. Младший кончает десятилетку, отличник, гордость школы. Словом, дети — один другого лучше. Соня и сама отличная работница, прямо влюблена в свое дело. А главное, золотой человек: во всем и во всех выискивает хорошее, так всегда старается все уладить и с таким отчаянием в худые времена говорила: «Не брошу я Васю. Он отец моих детей, и он хороший отец. Вася только опустился, а когда он трезвый, ему стыдно. И я ведь помню все хорошее, что было у меня с ним. А может, он еще перестанет пить». И перестал! Правда, сначала заработал туберкулез и шесть месяцев пролежал в больнице, а после больницы, вот уже больше года, не пьет... И Соня совершенно счастлива. А еще к тому же им дали трехкомнатную квартиру со всеми удобствами в новом районе: ему как ветерану войны. Раньше-то жили они в разваленном домике, в одной комнате, все впятером — ужас! А сейчас Соня, захлебываясь, рассказывает о горячей воде, о встроенных шкафах, о газовой плите и так далее... Кое-кто над ней за это подтрунивает, и зря: это ведь ее жизнь. И за всем этим Вася, Вася, гордость за него... Похорошела, помолодела, зубы вставила. Недавно, вернувшись из отпуска, со слезами рассказывала, как хорошо отдохнула, какой Вася был мягкий, внимательный, просто жених. «А вы, Вера Платоновна, говорили: брось его, толку не будет...»

Да, умеют же люди перевоспитывать... Но, видно, у нее, Веры, нет для этого душевного величия. И любви — главное, любви не хватает...

Полдороги у Веры наворачивались слезы. Но к концу пути она с собой справилась и пришла в гостиницу как всегда-с веселой улыбкой. А там ее ждал сюрприз: приехал из-за границы знакомый дипломат, давний поклонник, и привез коробку чулок, духи и компактную пудру. Вера благодарила, смеялась, а в душе все сверлило: «Может быть, зря я так, круто...» Все-таки горчичное зернышко любви в ней еще оставалось...

Вернулась домой. Кораблева не было. Мать сидела на кухне, вязала чулок. Совсем недавно она этому научилась — говорила, для нервов. Спицы шевелились неодобрительно.

— Ну, как у вас тут, мама?

— А что у нас? Тихо. Свистал-свистал, тюрлюрюлюкал, побрился, взял чемодан и ушел. Ко мне заглянул — попрощаться. «Спасибо, — говорит, — мамаша, не поминайте лихом. Простите, если не так». — «Бог простит», — говорю, а сама плачу...

Заплакала. Тут Веру что-то осенило:

— Послушай, мама, это ты ему деньги давала? Признавайся, ты?

Анна Савишна только голову опустила. Вера обняла ее за плечи и тоже заплакала.

— Дуры мы с тобой, дочка. Старая да молодая, а дурость одна.

Так, плачущими, застала их Маргарита Антоновна.

— О дорогая, я так вам сочувствую! Я-то знаю, что такое разбитое сердце...

— Ничего, — сказала Вера и выпрямилась. — Мое сердце не так-то легко разбить. Небьющееся мое сердце.

Вечером они с Маргаритой Антоновной раскладывали пасьянс (тоже для нервов). У той была заветная колода, привезенная из заграничной гастрольной поездки. Карты были тонкие, твердые, необычайно прочные (за три года не разлохматились, не загнулись по углам), но с какими-то неприятными, даже, пожалуй, преступными лицами персонажей — королей, дам и валетов («В этой колоде единственный порядочный человек — король пик», — говорила Маргарита Антоновна).

Пасьянс был сложный, редко выходивший, и начал уже выходить, когда кто-то постучался в наружную дверь. Стук был неуверенный, робкий. Вера пошла открывать. Это был Кораблев — без шапки, без чемодана, как стеной окруженный сивушным запахом. Редкий зачес на темени стоял дыбом.

— Все пропил. Можешь меня гнать на улицу. Подохну, как собака.

— Входи. Ложись спать.

— Ты ангел, — захныкал он.

— Нет, я не ангел.

И в самом деле, ангелом Вера не была... Назавтра, заняв денег у Маргариты Антоновны, купила ему билет на самолет и шапку. Собрала чемодан — старый, еще Шунечкин, довоенный, с железными оковками по углам, теперь таких не делают. Положила туда белье, тоже все Шунечкино — две рубашки, двое трусов, носки, полотенце. Подумавши, прибавила электробритву... Кораблев был тих и покорен, как нашкодившее дитя, заглядывал в чемодан и все повторял: «Ты ангел». Кажется, он не осознал толком, что его выгоняют. Вера проводила его на аэродром, для верности. Последний поцелуй — и вот уже дежурная уводит его к самолету. Он идет покорно, небольшими поломанными шагами и издали похож на несчастного ребенка. Вот уже и оторвался от земли самолет. Вера чувствует, как что-то у нее внутри именно отрывается с болью...

40

Недаром говорится: беда не приходит одна. Не успела Вера проводить, оторвать от души и оплакать Талю, как новая беда: заболела мать.

В Вериной жизни мать как-то само собой разумелась. Всегда рядом, со своей любовью, заботой, тишиной, с легкими войлочными шагами из комнаты в кухню, из кухни в комнату. С особым жестом искривленного указательного пальца, которым она как-то по-своему, наискось, держала иглу... Когда Анна Савишна заболела, мысль о том, что мать не вечна, застала Веру врасплох. А ведь не вечна. Никто не вечен...

Началось с того, что мать, всегда такая ходячая — век на ногах! — стала полеживать. Приготовит обед — и ляжет. Встретит Веру с работы, накормит ее с Маргаритой Антоновной — и ляжет.

— Обленилась я, дочка. Опять лежу.

— Ну что ты, мамочка, лежи, отдыхай. Посуду я перемою.

— Не дам, — трубила Маргарита Антоновна, — через мой труп! Это я буду мыть посуду!

Анна Савишна порывалась встать. Знала она, как моет посуду Маргарита Антоновна. Каждый раз тарелки либо чашки недосчитаешься...

— Лежи, мамочка, лежи. — Вера надевала клеенчатый фартук.

Анна Савишна покорно ложилась. Всегда кроткая, но твердая, она стала покорной, и это Веру тревожило. И еще худоба. Никогда не была полной, а сейчас совсем высохла.

— Мамочка, что у тебя болит?

— Ничего не болит. Лень напала. Вот что значит за чужой-то спиной жить.

— Давай сходим к врачу.

— Вот еще фокусы: к врачу! Да как я ему в глаза погляжу? От лени, скажет, матушка, лекарство еще не придумано...

Вера все же позвонила в поликлинику, просила врача на дом. Долго допытывались: какая температура, да сколько лет, да на что жалуется? Предложили прийти на прием. Вера настаивала — на дом. Наконец ей буркнули: «Будет врач», — и повесили трубку. Вера позвонила еще раз: «В котором часу?» — «Ждите в течение дня», — ответили ей, и сразу же короткие, раздраженные гудки... «Ну, можно ли так с людьми?» — думала Вера, положив трубку. Всеобщая, универсальная раздраженность на миг представилась ей как неодолимое зло...

Под вечер пришла участковый врач — серая, измученная, круги под глазами (этот вызов был у нее за день четырнадцатый). Осмотрела больную очень внимательно, хотя и сухо. Опять осведомилась, сколько лет, сказала: «Да, возраст...» Прописала порошки, спросила, где помыть руки. Вера ее отвела. Врач мыла руки долго и тщательно, как перед операцией, оглядывая каждый ноготь. Вера стояла рядом, держа полотенце, и размышляла: почему это надо мыть руки после осмотра, а не до, пока не поняла, что женщина так отдыхает. Что мытье рук для нее — блаженная передышка между двумя взлетами мучительного внимания. «А может ли для такой вот, измученной, работа быть игрой?» — подумала Вера и сама устыдилась. Не игра — подвиг, вот что это такое...

— Доктор, скажите, пожалуйста, что с мамой?

— Я вам сказала — возраст.

— Возраст не болезнь.

— Комплекс болезней. Ну что вам даст, если я начну перечислять: гипертония, кардиосклероз, артрит, вялость кишечника...

— Так вы думаете, ничего серьезного нет?

— Ну, как сказать... Возраст — это вообще серьезно.

Тут она улыбнулась, блеснув зубами, неожиданно белыми на увядшем лице. «Какая милая», — успела подумать Вера.

— Доктор, как ваше имя-отчество?

— Нина Евгеньевна. Да вы все равно забудете.

— Я не забуду. Спасибо, Нина Евгеньевна.

— Не за что. Я на работе.

Ушла, осторожно шагая по двору ногами в резиновых ботиках, бережно неся через лужи каторжную свою усталость. Вечерний воздух был прохладен, пахло весной... Горе не выбирает, когда прийти.

— Дочка, что докторша-то сказала?

— Ничего серьезного, мамочка.

— Вот и я говорю. Ленъ-матушка поперед нас родилась. Дай-ка встану.

— Я тебе «встану»! Лежи.

Время шло, а Анне Савишне лучше не становилось. И порошки пила, и витамины — а все ни к чему. Еще, как на грех, тошнота привязалась. Что ни съешь — обратно просится. Никогда-то много не ела, а теперь и вовсе отшибло ее от еды. Съестного духа даже не могла слышать, тяжело ей стало готовить обед. Все-таки стряпала, перемогая себя, пока не нашла ее Вера однажды на кухне, в обмороке. Так у плиты и свалилась. Трудно приходила в себя, бормотала: «Щами пахнет».

— Мамочка, ты больше готовить не смей. Поняла? Я запрещаю тебе — слышишь? — ходить на кухню.

— Не буду, дочка, не буду.

Эта покорность больше всего потрясала Веру. Приближаясь к смерти, мать становилась ребенком, с детским, снизу вверх, взглядом коричневых глаз. Старческое голубоватое колечко вокруг зрачка придавало этим глазам какую-то облачность...

На кухню больше она не ходила. А готовить громогласно взялась Маргарита Антоновна. Опыта у нее, правда, не было, только «общая культура и умение жить в предлагаемых обстоятельствах». Достала поваренную книгу прошлого века. Стряпала строго по рецептам, как иногда делают это мужчины, не отступая ни на волос от предписанных норм, сердясь только на их неопределенность («Что это значит: соли и сахару по вкусу?»). Затрудняла ее, правда, операция деления. В книге стандартным был «обед на двенадцать персон», а у них персон было всего две с половиной... Ничего, кое-как пересчитывала, делила на бумажке уголком, вспоминая школьные правила: «пять пишем, два в уме...»

Но это еще что. Маргарита Антоновна на кухне — вот это было зрелище! Рогатая голова в чалме, броский передник импортного ситца, рукава художественно засучены, в одной руке шумовка, в другой — книга. Кругом навалом — банки, кульки, бутылки, пакеты... Глубокий голос: «Боги мои! Куда могла деться гвоздика? Полцарства за гвоздику!» Гвоздика находилась — терялся перец. Новый взрыв театрального отчаяния... Все это походило на оперетку: казалось, повариха вот— вот пустится в пляс. Удивительнее всего, что получалось вкусно! Маргарита Антоновна пробовала и сама удивлялась:

— Ай да я! Вот что значит общее развитие! И шла с тарелкой кормить больную.

— Ну, умоляю! Один кусочек! Из любви ко мне! Честное слово, вкусно!

Анна Савишна, бледно улыбаясь, брала кусочек, переминала его деснами, но потом сплевывала украдкой, чтобы не обидеть Маргариту Антоновну — больно уж та гордилась своей стряпней... Да что поделать, если душа не принимает, кто бы ни стряпал, хоть повар-расповар. Тошнота проклятая — стоит, сторожит, как пес добро хозяйское. И жизнь от нее черная и узкая, уже норки мышинной...

А Маргарита Антоновна увлеченно ухаживала за больной. Как все, что она делала, — играя, но искренне. Впрочем, кто скажет, где кончается одно и начинается другое? Играя любовь, не начинаем ли мы любить?

Днем, в отсутствие Веры, она почти не покидала «каюты-люкс». Читала Анне Савишне вслух, поправляла постель, давала лекарства. А когда больной бывало получше, разыгрывала перед ней моноскетчи: старуха у зеркала, докладчик с бумажкой... Анна Савишна смеялась неслышным, замирающим смехом, прикрывая рот краем одеяла: по слабости она не могла теперь носить протез и стеснялась своей беззубости...

— Бог-то, если есть, — сказала она однажды, — он этого не забудет. Он вас наградит, Маргарита Антоновна.

— А вы как думаете: есть он или нет?

— Как для кого. Меня в вере воспитали, для меня есть. И то большая отвычка получилась. Бывает, за целый месяц лба не перекрестишь. А вот дочка моя, Верочка, та не признает. Да и другие. Думаю: неужто всем им наказание выйдет? Быть этого не может. Такую ораву людей да наказывать — у бога злобы не хватит. Не важно, верит — не верит, а важно, что живет по человеческому закону.

— А какой такой человеческий закон?

— Это чтобы всем было весело, никому не обидно. Участковый врач, Нина Евгеньевна, к удивлению Веры, приходила теперь сама, без вызова, осматривала больную, хмурилась, выписывала лекарства, долго, отдыхая, мыла руки. Понемножку становилась она мягче, разговорчивее, чаще вспыхивали в улыбке белые зубы, и было видно, что она была красива, может быть не так уж давно, и теперь была бы красива, если б отдышаться ей, отдохнуть. Приходила она к Вере Платоновне охотно. Однажды согласилась даже выпить чаю с вареньем и за столом совсем расцвела. Варенье, абрикосовое, похвалила:

— Сразу видно, хорошая вы хозяйка.

— Это не я, это мама варила. Вот доживем до лета, она и вам сварит...

При этих словах Нина Евгеньевна принахмурилась, глаза у нее затянуло непроницаемой пленкой, и Вера поняла захолонувшим сердцем: не сварит...

— ...И что же теперь делать? — домогалась она, все еще не в силах принять неизбежное.

Ничего. Ухаживать. Ждать. Поддерживать силы. Ближе к концу — уколы обезболивающие...

— Может быть, операция?

— Бесполезно. Никто и не возьмется. Возраст, состояние сердца... Впрочем, можете ее

госпитализировать, настаивать на операции. Ваше дело.

Замкнулась, ушла.

Вера задумалась: госпитализировать? Ну, нет. Мать не согласится.

Но однажды Анна Савишна подозвала ее к своей постели:

— Отвези ты меня, дочка, в больницу.

— Мамочка, разве здесь тебе плохо?

— Плохо не плохо, а все ж таки в больнице лучше будет. Не хотела ничего объяснять. После, наедине, сказала Маргарите Антоновне:

— Знаю, не встать уже мне. Я не против — пожила, и довольно. Верочку, само собой, жалко, да она молодая, утешится. Вы меня в больницу положьте. Хочу в больнице помереть.

— Что это вы вздумали, Анна Савишна! Умереть, да еще в больнице! Экое живое воображение! Ну подумайте — плохо ли вам дома? Мы с Верочкой так вас любим. Вот поправитесь, научите меня чулок вязать. С детства мечтаю.

Анна Савишна мотнула на подушке когда-то прекрасной, темнокозой, а теперь высохшей, стриженной головой:

— Нет, не поправлюсь. А что любите — вижу, спасибо. Только не хочу я, чтобы вы за мной ходили. Вы — артистка народная, большой человек, нельзя вам на такое дело себя тратить. Пока лекарство подать — это еще ничего. А до горшков дойдет? Да я со стыда сгорю. В больнице там нянечка, наемный человек, ей за это платят.

— В больнице, среди чужих людей! Как хотите — не понимаю!

— Молоды вы еще, Маргарита Антоновна. Вот поживете с мое...

41

Исполняя настойчивое желание матери, Вера устроила ее в больницу. Дело сложное, нигде не берут хроников, но, спасибо, помогли добрые люди. Та же Нина Евгеньевна, у которой были какие-то связи. Неожиданно подключился Борис Григорьевич, тоже похлопотал. Видеть его хлопочущим было странно, как, скажем, зайца стреляющим из ружья. Так или иначе, дело вышло. Анну Савишну положили в одну из лучших больниц города. Палата большая, светлая, на шестерых. Врачи внимательные, персонал дисциплинированный, белье новое, у каждой койки радио с наушниками. Анна Савишна наушников не надевала (малейшая тяжесть ее уже гнела), а клала их рядом с собой на подушку и слушала, как они бормотали петрушечьим голоском: слов разобрать нельзя, а музыку можно. Под эту музыку Анна Савишна пела в уме. Была она в молодости певунья, да и теперь песни любила, даже арии оперные, но вслух петь не осмеливалась, только в себе. После того как исполнилось ее желание попасть в больницу, она стала совсем молчаливой, целыми днями лежала, закрыв глаза, с наушниками на подушке, на вопросы врачей, как себя чувствует, отвечала «хорошо» и опять уходила во внутреннее свое пение. Когда музыка сменялась словами, которых нельзя было разобрать, она думала о прошлом, вспоминала мужа, Платона Бутова, и сына Ужика, любила их и жалела, подчас забывая, что они уже умерли. А иногда лежала безо всяких мыслей, просто слушала внутри себя, как у нее что-то там наступало, наступало, как крестный ход...

Вера навещала мать дважды в неделю, в приемные дни, и каждый раз поражалась переменой в лице, которому, казалось, и меняться-то было уже некуда. Услышав голос дочери, больная приоткрывала глаза, чуть-чуть улыбалась опять опускала веки. Вера присаживалась на койку, откинув белье в сторону, чтобы не садиться прямо на простыню (каждый раз ее посещала вздорная мысль о тщете такой предосторожности перед лицом смерти), брала мать за руку и молча просиживала полагающиеся два часа, после которых посетителей гнали вон. Рука матери была прохладна и легка, почти невесома; здесь, в больнице, она посветлела и казалась изнеженной рукой белоручки. Время шло быстро, а мысли — медленно, и почти все они были лишними. Среди них особенно навязчивой была одна: когда-то из недр именно этого, лежащего перед ней иссохшего тела, появилась на свет она сама.

Это было странно и казалось неправдоподобным, как и все вокруг. Как крики трамваев на улице (здесь был крутой поворот, и они скрежетали), как ранние сумерки с тонким месяцем на сиреновом небе, как разговоры соседок... Палата, полная тяжелых, в большинстве безнадежных больных, жила, несмотря ни на что, тихо кипящей, настойчивой жизнью. Упорством своим и упругостью она была даже как будто реальнее жизни здоровых. Происходили какие-то недоразумения, кто-то на кого-то обижался, плакал — по пустякам, конечно, но здесь пустяков не было. То и дело пропадали вещи — зубная паста, полотенце, кружка; каждая пропажа обсуждалась слабыми, надорванными голосами; кто-то тихо кричал: «Хотите, обыскивайте!» — и крик надрывал душу именно своей тихостью. Каждая мелочь вырастала в событие, словно больные смотрели на жизнь сквозь огромную лупу. Приход родственницы, гостинец, письмо — все это приобретало масштаб грандиозный. Делились огурчиком, яблоком, пастилой, и худые лица светлели: радостью было дать, радостью получить. А смерть, напротив, теряла в масштабе, становилась в ряд с мелочами. Когда в отделении кто-нибудь умирал, больные притихали на время, но быстро забывали случившееся. Напоминать об умерших или, не дай бог, плакать считалось как бы неприличным: «Не у себя дома, молчи!»

Анна Савишна в палатных волнениях участия не принимала, лежала молча, закрыв глаза. Сквозь истонченные веки, казалось, просвечивал строгий коричневый взгляд. Однажды, не раскрывая глаз, она тихо сказала: «Женечка».

— Мама, милая, тебе Женю хочется повидать? Я ей Напишу, она приедет.

— Баловство, — шепотом сказала больная,

Вера написала сестре, попросила приехать. В ответ получила письмо, закапанное слезами, и денежный перевод — сто рублей. «Войди в мое положение, — писала сестра, — я не могу сейчас уехать, на днях решается мое дело». Речь шла о тяжбе между нею и прежней семьей о наследстве покойного Семена Михайловича, умершего год назад. Вера на письмо не ответила, а перевод отослала обратно.

Один раз, придя к матери, Вера застала почти скандал: одну из больных, по распоряжению врача, переводили в другую палату. Толстая, равнодушная, но вежливая нянечка собирала белье, а больная цеплялась за него птичьими пальцами, словно за жизнь цеплялась, и кричала: «Не пойду в десятую! Знаю, вы меня умирать переводите! Никуда не пойду, останусь в пятой!»

— Нагнись ко мне, дочка, — чуть слышно сказала Анна Савишна.

Вера нагнулась к самым ее губам. Исходившее оттуда дыхание было прохладно и почему-то пахло кипарисом.

— Ох, глупая, — прошелестел соломенный шепот, — не все равно: пятая, десятая? Смерть

придет, она и в пятой возьмет...

...Так вышло и с нею самой. Пришла смерть и взяла ее в пятой. Койку выкатили в коридор, загородили ширмой. Вера застала мать уже мертвой...

— И не мучилась, — сказала нянечка, откидывая простыню, — чисто заснула...

Вера, опустив руки, глядела на сухое, правильное, бесконечно спокойное лицо. Мертвая, мать словно бы выросла и лежала высокая ростом...

А в день похорон Анны Савишны Веру постигло еще одно горе; она получила телеграмму: «Вчера скончалась мама скоропостижно похороны шестнадцатого Владимир». Кто ей сообщает еще раз, о смерти матери? И почему шестнадцатого? Она не сразу поняла, что «мама» — это Маша Смолина, а «Владимир» — ее сын, Вовус... Поняла и онемела... Два горя сразу — так не бывает. Вера шевелила губами, повторяя: «Машенька», — смысла не было, звук пустой. Про Машину смерть надо было рассказать кому-то близкому, знавшему ее, разумеется — матери, но матери не было, и потребность рассказать стучалась в пустоту. Вера, мало что соображая, добралась до почты и послала ответную телеграмму: «Скорблю с вами, приехать не могу, хороню мать», — и долго потом мучилась этим «скорблю» — вычурным и фальшивым.

Странное дело — как ни глубоко бывает горе, но все же на его фоне вспыхивают иногда болевые точки, связанные с причинами ничтожными, прямо сказать — смехотворными. Так Вера вспоминала свою телеграмму, яростно передразнила «скорблю» и била себя кулаком по колену...

Теперь, когда из дому навсегда унесли мать, он стал другим, словно душу из него вынули! Даже Маргарита Антоновна притихла, редко было слышно ее убедительное рокотанье.

Она ведь тоже оплакивала умершую, конечно по-своему, не без картинности, умея в любую минуту вызвать слезы на своих выразительных глазах, но горе ее было подлинным. Горю надо было уступить, посторониться, давая ему место, — они так и сделали. Часто по вечерам они сидели молча, каждая в своей комнате. Это тоже было данью горю. Вера удивлялась, ощущая незнакомую ей прежде потребность в молчании.

Отдельной болью была для нее мысль о Маше. Даже не о самой Маше, а о том, как она ее упустила, проворонила. Годами почти не думала о ней, не вспоминала. Все откладывала «на потом» — и вот отложила навеки...

О предметах отвлеченных она не привыкла думать, а теперь преследовали ее именно отвлеченные; и мысли, непривычные, шли ржаво, со скрипом. Как это получается в жизни — был человек и нет человека? И все? Какой в этом смысл, какой замысел? И есть ли он вообще, этот замысел? Похоже, что нет. Вспоминалось ей чеховское правило, которое любила повторять Маргарита Антоновна: «Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить». Красиво, но неверно. Жизнь полна нестреляющих ружей, несбывшихся судеб, утерянных людей. Или ей это только так кажется, по близорукости? Может быть, он еще будет, последний акт, когда все наконец объяснится? «Глупости, — отвечала сама себе Вера, — кажется, становлюсь мистиком».

Когда совсем уж одолевали скрипучие мысли, Вера стучалась к Маргарите Антоновне и предлагала: «Разложим пасьянс». Та соглашалась с восторгом. Пасьянс служил неким дозволенным перерывом в горе. Извлекалась заветная колода. Карты, тяжеленькие, раскладывались с тихим стуком, легонько щелкая о поверхность стола. «Единственный порядочный человек» — король пик — глядел на них мирно и сочувственно. Призрачная,

условная карточная жизнь, жизнь символов, вытесняла всякие мысли, в том числе и лишние...

Вот так они и сидят, раскладывают карты, будто дело делают. Вере спокойно, хотя и грустно. Рядом — Маргарита Антоновна, добрая, постаревшая, тоже невечная... Иногда они с Верой даже смеются. Что поделаешь, горе горем, а жизнь — то идет...

42

Слишком-то упорно горевать не давала работа. Вера Платоновна Ларичева, уже старший администратор гостиницы «Салют», была вся на виду, работала с людьми и не могла себе позволить не только горевать, но и рассеянной быть публично. Каждый день она шла на работу «уже в образе», как любила говорить Маргарита Антоновна, ее провожая. У Веры такая была заповедь: помни, что ты с людьми. Всегда будь веселой, внимательной, жизнерадостной. Никому нет дела до твоих сложностей — каждому хватает своих.

А сложностей много было, и по работе — тоже. Вере приходилось замещать часто болевшего директора, который наконец понял спасительную прелесть бюллетеня. Посоветоваться было не с кем. Персонал гостиницы смотрел на нее как на хозяйку, обрушивал на нее свои склоки и жалобы. Начальство тоже предпочитало говорить с нею, а не с робким «шефом».

Постепенно она привыкла принимать решения, хотя поначалу робела. И как-то само собой получилось, что, когда директор после долгой болезни в самый сложный момент удрал на пенсию, его место предложили Вере Платоновне. Момент и в самом деле был сложный (городу грозила эпидемия, и два случая заболеваний были как раз в гостинице «Салют»). Вера была польщена, но испугана, сперва отказывалась, но в конце концов дала согласие, подбадриваемая восклицаниями начальства: «Поможем!» С критическим моментом она справилась блестяще, успешно провела гостиницу через все трудности дезинфекции, карантина, бунтующих жильцов (у всех были неотложные дела, никто не соглашался ждать). На время карантина устроила в гостинице нечто вроде дома отдыха, с показом кинофильмов, с обливанием желающих из шлангов морской водой (замена купанья). Все это прочно утвердило Веру Платоновну во мнении начальства. «Ушлая баба!» — говорил про нее с восторгом директор управления. Когда критический момент остался позади, работа в обычных условиях показалась ей почти раем. Вообще-то говоря, раем она не была...

Маргарита Антоновна гордилась Вериним возвышением, как лично своей заслугой: «Я говорила, вы далеко пойдете! У меня на это нюх!» Далеко не далеко, а идти надо было и поторапливаться. С волнением и азартом Вера взялась за работу в новой своей роли — хозяйки гостиницы. Не фактической (к этому она уже привыкла), а законной, официальной. «Я как любовница, — шутила она, — на которой наконец-то женился ее сожитель». А работа администратора, руководителя, которой многие чураются как огня, была ее призванием. Верный признак призвания — это когда любишь не только удачу в работе, но и ее трудности. Для Веры работа была цепью увлекательных преодолений, маленьких побед, которые виделись ей большими — очень уж больших усилий они требовали. Праздником было для нее, например, когда удавалось всеми правдами и неправдами «выколотить» нужную арматуру, или добиться фондов на внеочередной ремонт, или же получить согласие начальства на какое-то новшество. Многие покачивали головами, повторяя стандартную формулу: «Что тебе, больше всех нужно?» — «Больше!» — отвечала Вера, азартно вскидывая голову. И в самом деле, многое было ей нужно...

А самой большой радостью (да и самой большой трудностью!) была работа с людьми. Иногда она доводила почти до отчаяния, иногда, напротив, до ликования. Все время как на качелях. То полный мрак: «До чего ж они мне все надоели!» — то, наоборот, ощущение общности,

гордости, счастья...

В распоряжении Веры был персонал гостиницы — почти все женщины, в большинстве немолодые, нервные, как она говорила, «климактерические». Болезненно самолюбивые, обидчивые, низкооплачиваемые. Но как же эти женщины работали! Вот уж поистине не за страх, а за совесть. «Совесть есть у каждого, — смеясь, говорила Вера, — но надо создать человеку такие условия, чтобы хочешь не хочешь, а она проявлялась». И умела такие условия создать. Требовала работы не показной, а подлинной — и добивалась. Зато она знала жизнь и заботы каждой: кого бросил муж, у кого нелады со снохой, у кого сердце, у кого давление. Кому подкинуть топлива, кому безвозвратную ссуду, у кого когда день рождения, и не забывала каждой послать поздравительную открытку. Правда, и тут не обходилось без недоразумений: какая-нибудь из сотрудниц обижалась, что у другой на открытке были две розы, а у нее — только одна... Всерьез обижалась, до слез. Но Вера умела быстро уладить конфликт, перевести его в шутку: «Одна-то одна, но зато каков уровень махровости! Вы только взгляните!» И обиженная уже улыбалась. Вообще Вера умела и сама посмеяться, и людей насмешить.

Великое дело — смех! Под него и работается-то легче. Вера шутя говорила, что, когда вырастет большая, напишет научную работу: «Роль смеха в деле повышения производительности труда». А пока что применяла это средство на практике. Зато и любили же ее «климактерические»! Конечно, поварчивали, поскандаливали — без этого не бывает! — но в главном горой за нее стояли. Каждая ценила возможность прийти к Вере Платоновне со своими горестями, выплакаться, пожаловаться на судьбу, что называется, «поделиться».

Ох, любит «делиться» русское женское сердце! «Делились» не только горестями, но и радостями. Недаром говорится: разделить горе — полгоря, разделить радость — две радости. Вот, например, Соня Хохлова, дежурная четвертого этажа, та самая, что мужа-пьяницу перевоспитала. Долгое время ходила с горестями, потом стала ходить со счастьем. Прямо не держалось в ней счастье, требовало излиться. Вера радовалась с нею вместе, хотя и скребло у нее на душе: вот сумела, перевоспитала, а я — нет... А еще Лидия Ивановна — второй администратор. Вдова военного, жила очень скромно с сыном-подростком, еле концы с концами сводила. И вот, получая пенсию на сына, познакомилась в банке с отставником-майором, инвалидом, но еще бодрым, непьющим. Понравились они друг другу, стал он в дом ходить — и вот, поженились. Конечно, по симпатии, но главным образом по настоянию сына, который мечтал иметь «своего папу», как у всех детей. Подумать только, в такие годы и так рассуждает: он, мол, хочет иметь отца, чтобы «вести с ним мужские разговоры» — так и выразился! Расхваливал матери этого дядю Костю, пообещал ежедневно, без приказания, выносить ведро с мусором, если только мама согласится! И что же — своего добился, выдал, можно сказать, мать замуж. Теперь живут дружно, сын подрос, обожает отчима, кончил техникум, зарабатывает... Сама Лидия Ивановна — отнюдь не из сердцеедок. Рослая, крупная, простая женщина. Сказать простоватая — так нет. И вот — нашла же свое счастье... С такими — редкими, счастливыми — Вера отдыхала душой (она вообще любила счастье, свое и чужое), но, к сожалению, чаще ходили к ней плакать, жаловаться. И для таких Вера находила нужное слово, старалась утешить, поддержать, рассмешить. А то и помочь, если могла. Одной, угнетенной зятем, выхлопотала комнату, а временно, до оформления ордера, поселила ее у себя. Другой внука устроила в ясли, третьей — мужа в больницу. Да мало ли всего...

Подчиненные платили ей дружной, хотя подчас и строптивой любовью. Нередко в коллективе вспыхивали ссоры, кто-то на кого-то обижался, кто-то с кем-то не разговаривал (бывало и по году). Эти детские ссоры («Я с тобой не вожусь») были в пожилом коллективе даже трогательны. Труднее всего было Вере премировать лучших работников — тут уж обиды сыпались градом: «Почему ей, а не мне?» И ведь не из корысти, а по самолюбию. Ох, трудно

женщине управлять женским коллективом — это Вера чувствовала на каждом шагу, как ни старалась сгладить противоречия. Зато стоило над Верой нависнуть какой-нибудь беде, даже не беде — неприятности, все как одна становилось на ее сторону. Скажем, если какая-нибудь комиссия (жизнь гостиницы была богата комиссиями, как жаркое лето — грозами), уличив Веру Платоновну в нарушении правил, заносила в акт неодобрительные слова — что только тут начиналось! Каждая сотрудница готова была горло перегрызть председателю комиссии, доказывая, что такого человека, как Вера Платоновна, днем с фонарем не сыскать.

Впрочем, такое бывало редко. Вера Платоновна вообще-то была в ладу с правилами и охотно их соблюдала. Есть такие счастливые натуры: правила их не раздражают, а веселят. Весело подчиняться научил ее еще Шунечка. Получив из своего гостиничного управления инструкцию, пускай неумную, она не встречала ее в штыки, а старалась найти в ней здоровое зерно. Часто его удавалось найти. Ведь в каждом распоряжении обычно в момент зарождения присутствует здравая мысль. Вера, как никто, умела эту мысль уловить, развить и украсить. Иногда даже объяснить начальству, томимому неопределенной жаждой деятельности, чего, собственно, оно хочет. Новое правило было для Веры не постылой обузой, а задачей, требующей творческого решения. Что касается правил решительно устаревших, только и ждущих своей отмены, то их Вера Платоновна умела обходить артистически, почти всегда оставаясь в рамках дозволенного. «Почти» — потому что полностью удержаться в них могут только трусы и бездельники. «Настоящий администратор, — говорила Вера, — должен всегда идти чуть-чуть впереди правил...»

А гостиница «Салют» тем временем неуклонно шла в гору, становилась заметной, даже знаменитой. Кто-то из журналистов, побывав в гостинице, пытался даже сделать карьеру на пропаганде «салютского эксперимента», но, видно, переборщил в эпитетах, и начатая было в областной газете кампания быстро сошла на нет. Что касается самой гостиницы «Салют», то она процветала и без кампании. Все в ней — начиная с постельного белья и кончая обращением персонала — было продуманно, умело и весело-изобретательно. Вера придумала шить пододеяльники не с обычным квадратным, а с изящным овальным отверстием — это в полтора раза удлиняло срок их службы (в стирке рвутся обычно углы). Экономия от белья пошла на убранство номеров. Вера давно поняла, что можно переносить расходы из одной статьи в другую, только если подпереть себя письменным распоряжением начальства. Такое распоряжение она получала всякий раз, пользуясь своим обаянием и улыбкой (собственно, это была уже не улыбка, а длительное улыbanie, от которого можно было устать, как от физической работы). Появлялась какая-то свобода в маневрировании средствами — и ни один номер не был похож на другой, у каждого — свой уют... Приезжие, официально значащиеся «постояльцами», в гостинице «Салют» назывались «гостями». Не грозные «Правила для постояльцев» висели в холле, а милые «Советы гостям».

Вера ввела в обычай, чтобы горничные выучивали имена-отчества гостей и обращались к ним как к добрым знакомым. Как когда-то ей самой Шунечка, она вменяла своим женщинам улыбку в обязанность, в служебный долг. Гость должен был чувствовать себя в гостинице как дома — нет, лучше чем дома: ведь дома не всякому улыбаются. Домашним уютом дышали милые подробности: плюшевые попрыгунчики на шнурах занавесок, вазы с цветами, лаконично поставленными по— японски (один-два, не больше), яркие журналы, веером кинутые на столик, кровати с пышно взбитыми пуховыми подушками (на складе давали перовые, но Вера с помощницами делали из них пуховые, ощипывая стерженьки...). Каждый гость мог записать в книгу, когда разбудить его завтра. Будили минута в минуту, и не как—нибудь, а петушиным криком (за этим криком Вера специально командировала в деревню своего монтера, и он записал петуха на пленку). Словом, все в гостинице «Салют» было свое, особенное, нестандартное. И гости, в большинстве пожилые «командировочные»,

обремененные семьями и инфарктами, отдыхали душой, купались в улыбках и, уезжая, записывали в книгу пространные благодарности.

Конечно, не обходилось и без жалоб: порой какой-нибудь раздражительный гость («желчно-каменные» — называла таких Вера) не мог снести соседства уборной или сетовал, что два дня не было горячей воды. Таких жалобщиков Вера брала на себя. Старалась разговорить их, рассмешить, и чаще всего гость уходил от нее умиротворенным, а то и очарованным. Отдельные жалобы все-таки проникали в книгу, но их было мало по сравнению с благодарностями — капля в море. А с нарушителями порядка — пьяными, скандалистами, женолюбями — Вера обходилась без церемоний, и они ее побаивались.

Иногда, размышляя о своей работе, Вера прямо физически чувствовала, как у нее связаны руки. Чего бы она не сделала, если бы не стояли на ее пути пункты, пункты, пункты... На что проще было бы организовать ту или другую форму платных услуг — и гостям удобно, и гостинице выгодно. АН нет, не положено, не предусмотрено. Казалось бы, зачем дремать в аптечном киоске продавщице в часы, когда все гости спешат позавтракать? Не лучше ли было бы послать ее помогать в буфет? Нельзя — киоск подчинен аптекоуправлению, а буфет — тресту столовых и ресторанов. И все равно, не позволят прибавить зарплату продавщице за дополнительную работу...

Когда разговор заходил о так называемой «сфере услуг» — тема модная, повсюду о ней писали, — Вера говорила: «Какая там сфера — одни углы да рогатки...» А откуда рогатки? От недоверия. Как бы кто-то чего-то не украл! Но не больше ли мы теряем на боязни воровства, чем потеряли бы на самом воровстве, если бы снять рогатки? Ведь честных-то людей большинство... Вера об этом думала без раздражения (она вообще не была раздражительна), но с каким-то беспокойством сильного существа, которому не дают делать дело. Иногда в своих размышлениях она доходила до чистой утопии — а не учредить ли какой-то «орден честных людей»: заслужил его, и хозяйничай по-своему, трать деньги так, чтобы и людям было не обидно, и государству выгодно... Такими мыслями Вера по вечерам делилась с Маргаритой Антоновной, а та рокотала:

— Да вы — прирожденный философ, Верочка! Ваши идеи должны стать достоянием читающей публики. Вам непременно надо писать эссе...

Так, в хлопотах, тревогах, радостях и размышлениях шла себе жизнь, и горе постепенно убывало, входило в берега. И слава богу, что горе не вечно, а то уж очень много накопилось бы его за жизнь...

43

Темный осенний вечер, порывы ветра с холодного прибоем гремящего моря. Против ветра трудно идти, он треплет полы пальто, толкает в грудь, рвет с головы косынку. Хорошо тем, кто в такой вечер может сидеть дома. Но хорошо и тем, кто идет против ветра и думает о хорошем. Вера шла домой и думала о хорошем. Только что отгремели Октябрьские праздники. На торжественном заседании коллективу гостиницы вручали знамя, грамоту, премии (сама Вера Пла-тоновна получила именные часики плюс двадцать пять рублей). Дома у нее, как у ответственного работника, поставили телефон — без очереди. Все это было приятно, и не только само по себе, но и ввиду будущего. Мало ли куда приходится обращаться — ну, а «заслуженному коллективу» отказать труднее. А дел предстояло уйма, и, как всегда, Вера приходила в азарт при мысли о том, как она с ними справится. Смолоду она привыкла к охоте за вещами — то одни, то другие всегда были в дефиците, и мысль, что того нет, другого нет, не пугала ее, а подстегивала. Из любого положения можно выкрутиться, была бы охота. Недавно

из торговой сети начисто исчезли графины — Вера надумала их заменить керамическими кувшинами, и вышло даже лучше, оригинальнее, в графине все-таки что-то казенное. Водопроводную арматуру заменить было, к сожалению, нечем — для ее добывания Вера планировала сложную операцию с привлечением московских связей.

Еще забота — новые правила внутреннего распорядка, которые свалились как снег на голову, были довольно глупы (например, проживающим не разрешалось держать вещи в номерах, а предлагалось сдавать их в камеру хранения), а главное, шли вразрез с тем духом дружеского доверия, который уже стал традиционным в гостинице «Салют». Придется мудрить, изворачиваться; в том, что она в конце концов извернется, Вера не сомневалась. Несколько омрачала ее мысль о предстоящем ремонте (деньги полагалось освоить до конца года, и никакие соображения о бессмысленности ремонта в зимнее время во внимание не принимались). Кроме того, слесарь-водопроводчик подыскал себе другое место и уволился; у Веры язык не поворачивался его упрекать — там зарплата была выше в полтора раза; вот если бы... Ну, да что говорить. Самое досадное: сразу две горничные идут в декрет (эх, и дернуло же меня взять молодых!). На мгновение все эти сложности обступили ее, удручили, а тут еще ветер, и вспомнила она, что ей уже не двадцать лет и даже не сорок, и сердце пошаливает, и впереди — как ни крутись — одинокая старость. И что много-много дней придется так идти против ветра — во всех смыслах. И что умри она или уйди на пенсию — и все трудом налаженное дело постепенно начнет распадаться, разваливаться... Правда, говорят, незаменимых нет. Прикинула в уме, кто же станет на ее место, — и тот «не то», и этот «не то»... Но она вообще таким мыслям ходу не давала — попросту вытесняла их смешными, веселыми. Вот и сейчас вспомнила, как прослезился директор управления, вручая ей часики, как целовал ей руку и краснел лысиной, — и рассмеялась. Ветер тотчас же воспользовался случаем и залез ей в рот, чуть не задушив. Слава богу, вот уже и дом. Вера по привычке взглянула на окна. В ее комнате светится — кто бы мог там сейчас быть? Неужели... Таля вернулся? Сердце екнуло и замерло, желая и не желая страдать... В прихожей — Маргарита Антоновна:

— Верочка, у вас гостя.

Из кресла навстречу ей поднялась незнакомая худенькая и прямая девушка лет двадцати.

— Вера Платоновна, здравствуйте. Я — Вика Смолина.

— Вика?!

— Да, именно Вика. Вы, конечно, меня не узнали.

— Нет. То есть да. Нет, конечно, не узнала.

— Тем не менее это я.

— Как же ты так неожиданно? Не написала...

— Могу уйти, — резко сказала Вика.

— Бог с тобой, что ты?! Я просто удивлена. Вы с Вовусом на мои письма не отвечали...

— Были причины.

— Ну, дети мои, я вас покину. Обнимайтесь, целуйтесь, плачьте, — пророкотала Маргарита Антоновна и вышла.

— Надеюсь, без этого обойдется, — сказала Вика.

— Можно и без этого.

Странно, именно эту девушку ей совсем не хотелось целовать, что-то в ней было чужое, почти враждебное, во всяком случае — настороженное. Вика... Изменилась, а узнать можно. Те же пенные, без блеска, кудри над выпуклым, туго обтянутым лбом, настолько обтянутым, что голубые жилки на висках просятся наружу. Те же пристальные, огромные, ночные глаза. И в сущности, то же лицо — не лицо, личико, — голубоватое, цвета снятого молока, слишком маленькое для взрослого человека. Новым было в этом лице выражение свирепой строптивости.

— Садись, моя девочка. Поговорим.

— Можно, я закурю?

— Сколько угодно!

Вика достала папиросу, угловато помяла, закурила. Вика — младенчик! — с папиросой... Глазам не верится. В том, как она курила, торопливо затягиваясь, как разведала дым ладошкой, как держала папиросу в пряменьких, неухоженных пальцах, Вера вдруг увидела Машу и впервые растрогалась. В носу защипало...

— Вообще-то я не курю. Это я так, для храбрости. Вика говорила сердито, отрывисто, с выражением непримиримости на маленьком бледном лице. Говоря, она словно с кем-то ссорилась, может быть, с собой. Речь ее была как серия маленьких взрывов.

— Сразу хочу предупредить. Я приехала к вам насовсем. Хотите — принимайте, не хотите — нет. Только скажите откровенно, без церемоний. Терпеть не могу церемоний. Скажите, и я сразу уйду. Только не притворяйтесь, что рады мне. Ладно?

Вера Платоновна в некотором замешательстве глядела на Вику. Насовсем? К этому она не была готова. Отказать? Еще меньше.

— Что ты, девочка! Разумеется, я тебе рада. Я только немного ошеломлена. Это же естественно, правда?

— Правда. Приехала и — «здравствуйте, я ваша тетя». Или наоборот, «вы моя тетя».

Вика засмеялась, показав узенькие, чуть уголком поставленные зубы и призраки ямочек на щеках.

— Ну и отлично. Давай знакомиться. Я — твоя тетя. А ты? Расскажи про себя: как жила, что делала? Как надумала приехать?

— Я могу...

— Знаю: можешь сейчас же уйти. С этим мы повременим. Уйти никогда не поздно. Рассказывай.

— В общем, после маминой смерти...

— А от чего умерла мама? Вы ведь мне так и не написали.

- От сердца. Этой темы мы лучше касаться не будем.
- Прости меня.
- Ничего, пожалуйста. В общем, остались мы вдвоем с Андреем...
- Ты хочешь сказать, с Вовусом?
- Нет, именно с Андреем. Это мамин муж, художник.
- А Вовус?
- Он давно уже с нами не жил. Женился. Нелепая ошибка. Так говорила мама. Она была против этой женитьбы. Может быть, и умерла-то отчасти из-за нее. Впрочем, еще раз прошу: не будем касаться этой темы.
- Не будем. Ты уж как-нибудь сама регулируй темы. Я тебя слушаю.
- Остались мы с Андреем. Он художник, не знаю, талантливый или нет, но непризнанный. Зарботков нет. Пришлось мне работать.
- А кем же ты работала? Помнишь, ты мечтала работать в цирке, слоном?
- Не помню. Скорее всего, я так и не говорила. Взрослые про детей часто выдумывают, чтобы смешно. Работала продавщицей в универмаге. Зарплата маленькая, если не откладывать.
- Что значит «Откладывать»?
- Товар. По знакомству. Повышенного спроса. Я не откладывала. Не потому, что какая-нибудь идеалистка, а напротив. Но дело не в этом. В общем, Андрей пил. Денег, конечно, не хватало. Он злился. Но я все терпела, из-за мамы. Словом, все шло ничего, пока...
- Пока что?
- Пока не лопнуло терпение. Подробностей рассказывать не буду. Недели две назад пришел, и... Словом, пришлось оттуда уйти. Это я зря рассказываю, выходит, что жалуюсь. Я жаловаться не хочу. Все же мама его любила...
- И куда же ты ушла?
- К подруге.
- Почему не к брату?
- Там жена.
- Понимаю. А дальше?
- Дальше? Ничего особенного. Ночевала у подруги, даже, представьте себе, спала. Назавтра взяла расчет на работе, заняла денег на билет, села на поезд и, видите, приехала. Почему к вам? Это опять-таки в память мамы. Она мне почти завещала: если что случится, ну, словом, когда умрет, ехать к вам. Вот я... приехала.
- Девочка моя родная, — плача, сказала Вера Плато-новна, — девочка моя родная...

А продолжать уже не могла. Расхлюпалась самым позорным образом.

— Не обошлись без слез, — гневно сказала Вика и тоже заплакала.

Так их застала Маргарита Антоновна, вошедшая с подносом в роли любезной хозяйки. Увидела, что плачут, сказала «рагдоп», задела подносом о косяк, чертыхнулась — чашки посыпались на пол. Уронила и поднос — уже нарочно! — и застыла над содеянным в позе каменной Ниобеи, оплакивающей своих детей.

— Ничего, это к счастью, — сказала Вера.

— Хорошенькое счастье! Посуды в продаже нет. Эту приметку придумал тот, кто мог в любой лавочке купить чашки.

— Будем пить из банок, — сказала Вика.

44

Так у Веры Платоновны Ларичевой нежданно-негаданно появилась дочь. А что? Разве не была Вика ее дочерью с самого начала? Кто принес ее из родильного дома небольшим пакетцем, до того тщедушным и легоньким, будто там ничего, кроме одеяла, и не было? Кто вставал по ночам, пеленал, укачивал? Кто купал, грея воду на хромом примусе, в тесной каморке, где и повернуться-то было трудно? Кто прижимал девочку к себе со сложным чувством счастья и жалости? Все она, Вера. Ладонь до сих пор помнила ощущение цепочки выпуклых позвонков на худенькой спинке ребенка. Новую Вику не очень-то обнимешь, да Вера, правду сказать, не из тех женщин, что охотно обнимаются-целуются с себе подобными. Вику она полюбила широко, свободно и радостно, без излишней сентиментальности — одним словом, весело полюбила. И было за что — девочка была забавная, с загогулинами. Больше всего Веру трогала и забавляла ее пламенная строптивость, словно каким-то образом вернулась Маша, только в усиленном виде... Впрочем, чувства чувствами, а первым делом надо было Вику прописать. «Любовь в наши дни начинается с прописки», — говорила Вера. Прописать оказалось не так-то просто. «Кто она вам?» — спрашивали в милиции. Никакие ссылки на давнюю дружбу с умершей матерью здесь силы не имели. Личное обаяние — тоже. Как ни облучала Вера начальника паспортного стола — не помогало. Письмо народной артистки Куниной тоже оказалось пустым номером. Пришлось вывести на позиции тяжелую артиллерию в лице «очень ответственного» из номера люкс, который, однажды приехав в командировку, с тех пор всегда останавливался здесь, пренебрегая лучшими гостиницами города ради «Салюта» и Веры. Этот помог, не столько словами, сколько одышливым своим равнодушием, с которым он явился в милицию, положил фуражку на край стола и сказал: «Ну-с, любезный...» Таким образом, Вика была прописана, так сказать, официально закреплена в качестве члена семьи.

Возник вопрос: что делать дальше? Вера и Маргарита Антоновна советовали идти учиться. Но Вика и слышать об этом не хотела. Возражала по-своему, кипя и пузырясь, так, что дух у нее перехватывало от возмущения:

— Почему это все помешались на высшем образовании? «Учиться, учиться!!!» Как будто бы образованным делает человека диплом. Нет уж. Пойду работать.

И пошла. И работу-то особенно не выбирала, взяла первую попавшуюся — приемщицей в ателье. Заработок небольшой, зато голова свободная. Свободная голова нужна была Вике, чтобы читать и думать. Читала она необычайно много, быстро, как правило — лежа, крутя на палец легкий завиток откуда-то с виска или с темени. Читая, время от времени издавала саркастические звуки. Автор был, разумеется, невежда и халтурщик, путался в хронологии, а

главное, размазывал сопли («соплями» она называла всякие нежности и красоты). Читая про какие—нибудь «глаза, осененные густыми ресницами», про лунное сияние или поцелуй, она страдальчески стонала. «Что ты?» — спрашивала Вера. «Лю-бо-овь!» — отвечала Вика, презрительно растягивая "о". Кипеть гневом доставляло ей, видимо, удовольствие, потому что книгу она не бросала. Читала все подряд: романы, справочники, словари, примечания к собраниям сочинений. Даже «Малый атлас мира» — и тот читала и ухитрялась возражать. А сколько всего она знала — уму непостижимо! Скоро она стала для Веры чем-то вроде ходячего справочника. На вопросы отвечала сварливо, но точно. А как разгадывала кроссворды!

— Вика, что это такое: запас представлений, восемь букв, в начале "т", на конце "с"?

— Конечно, тезаурус! Удивляюсь вашему невежеству! Веру Платоновну она называла на «вы» и «тетя Вера», но, когда надо было выразить презрение, слов не выбирала. А Вера только посмеивалась. Ее забавлял контраст резких слов и нежных, полудетских губ, откуда они выходили... И вообще, в этой семье, в своеобразном содружестве двух женщин — стареющей и старой, — Викина запальчивая молодость пришлось как нельзя более кстати. Обе тетушки души в ней не чаяли. Каждая по— своему наставляла ее на путь истинный, настолько по-разному, что физически нельзя было слушаться обеих, — она предпочитала не слушаться ни одной.

Общелюдские законы для Вики были не писаны, обо всем она судила самостоятельно, горячо и резко, порою несправедливо, но всегда искренне. Горда была непомерно — вся в мать. Ничем никому не хотела быть обязанной. Небольшую свою зарплату всю до копейки отдавала Вере: «Ничего мне не нужно». Было у нее одно-единственное платьице на все сезоны — носила его, подштопывая локти, пока совсем не истлело; тогда неохотно позволила Вере сшить себе другое, самое скромное (белый воротничок и тот спорола). Считала себя некрасивой (проходя мимо зеркала, отворачивалась), что было несправедливо — какая-то тонкая, неочевидная красота в ней, безусловно, была. Особенно хорошела, когда смеялась, но было это редко и всегда на мгновение. Житейскую мудрость и жизненный опыт не ставила ни во что, но почему-то любила рассказы о прошлом — подопрет кулачками щеки и слушает («Смотри, глаза выронишь!» — говорила Вера).

Особенно ее поражало, если кто-нибудь родился в прошлом веке (Маргарита Антоновна). «А как тогда было, в девятнадцатом веке?» — «Ну, я плохо помню, мне был один год... Грудное молоко было сладкое...» Расспрашивала о прошлом внимательно, даже с личным каким-то интересом. О себе самой не рассказывала. Но из клочков фраз, случайно уроненных и тут же обрываемых, Вера догадывалась, что не все там было гладко. Горячая любовь к матери — и яростное с ней несогласие. Может быть, была там какая-то запутанная ревность всех ко всем, может быть, детская любовь девочки к отчиму — кто знает? Недаром ненавидела любовь и все, с нею связанное, и в книгах, и в жизни. А вместе с тем ненавидела мнимую свою некрасивость, чего бы ни отдала, чтобы самой себе нравиться, — но не другим, боже упаси! Когда Вера или Маргарита Антоновна говорили ей что-нибудь лестное, злилась и махала рукой: мелите, мол, я лучше знаю... «Наш сатаненок», — с любовью звала ее Маргарита Антоновна. Впрочем, сатаненок начинал уже как бы ручнеть, иногда улыбался, забывая нахмуриться...

Поселилась Вика в «каюте-люкс», которая сразу же приобрела спартански—нигилистический облик. Все немногие вещи, которыми Вика владела, лежали на виду, чтобы «всегда быть под рукой». Несмотря на это, они вечно терялись. Книги лежали бесформенными кучами, прямо стогами. Органически порядчивая Вера, зайдя в Викино логово, приходила в ужас и пыталась что-то прибрать. «Не понимаю, — взрывалась Вика, — почему „прибрать“ — значит положить вещи так, чтобы их края были параллельны?» Вера объяснить этого не могла, только смеялась.

А Маргарита Антоновна вполне понимала Вику. Она сама любила царственный хаос: «Надо быть выше вещей». Во всем доме единственным островком порядка была Вери-на комната. Любопытно, что обе неряхи до того иногда доходили в своем роскошестве, что самим становилось невмоготу и они искали убежища у Веры.

— Все-таки в чистой комнате что-то есть, — великодушно говорила Вика.

Порою их партизанские налеты на Верину комнату сопровождались вторжением и туда беспорядка. В таких случаях Вера была беспощадна: «Брысь со всем барахлом!»

44

Однажды Вера Платоновна сидела в своем директорском кабинете, просматривала счета и прикидывала: по какой статье провести совершенно необходимый, но сметой не предусмотренный расход. Настроение у нее было неважное. Иногда даже ее покладистая натура давала взбрык. Эх, дали бы ей воли побольше! Впрочем, это старо. Воли тебе, матушка, никто не даст, крутись в дозволенных пределах. Недавно она читала книгу про спелеологов, исследователей пещер, проникающих, спорта ради, через самые узкие отверстия. Так вот, ее хозяйственная деятельность порою напоминала ей подземное пролезание спелеолога, червем ввинчивающегося в узкую щель...

— Вера Платоновна, — сказала, входя, старший администратор Ольга Петровна, женщина пожилая, тучная, честная, истеричная, а по существу — чистое золото.

— Что такое?

— Приехал моряк, просит отдельный номер. У меня нет, только резервный, на случай брони. Я ему отказала, а он — опять. Такой настырный. Главное, не просит, требует. Ему, говорит, по службе надо. Улыбалась-улыбалась, аж щеки заболели. Направлю его к вам — хорошо?

— Все ко мне да ко мне, с любым пустяком! Неужели сами решить не можете?

— Очень принципиальный.

— Ладно, пускай зайдет.

Она опять погрузилась в счета. Какая-то сумма упорно не сходилась. Пересчитывала несколько раз — все разные результаты. Старею... В кабинет кто-то вошел. На стол рядом с нею легла рука в черном морском рукаве с золотым галуном, выложенным восьмеркой. В руке — какая-то бумага. Все это Вера Платоновна видела боковым зрением, поглощенная столбиком цифр. Сумма издевательски не сходилась, даже на счетах.

— Сейчас-сейчас, только сложу.

— Позвольте, я вам помогу в этом сложении, — сказал приятный мужской голос.

Вера подняла глаза. Рядом со столом, неправдоподобно высясь, стоял очень длинный человек в форме моряка торгового флота, с узкой серебряной головой. Голова эта увиделась ей плавающей где-то под потолком и поразила своей высокой отдельностью.

— Спасибо, — улыбнулась Вера, — думаю, что с арифметикой справлюсь сама. Садитесь.

Моряк уселся в кресло, разглядывая ее с живой симпатией.

— Я Юрлов, Сергей Павлович. — Он протянул ей бумагу, которую по-прежнему держал в руке. — Сергей Павлович Юрлов, инженер-приборостроитель. Приехал сюда на испытания. По понятным причинам не могу входить в подробности. По вечерам должен работать. Совершенно необходим отдельный номер. Пытался договориться со старшим администратором, но безуспешно. Понадобилась встреча на высшем уровне.

Все это он произнес, весело глядя на Веру светло-синими, близко поставленными глазами сквозь стекла бифокальных очков. Лицо у него было прямоносое, чисто бритое, того красноватого оттенка, какой бывает у немолодых мужчин, ведущих здоровый образ жизни.

— А это что? — Вера Платоновна взяла у него бумагу. Честно говоря, почти липа. Просроченное удостоверение. На некоторых все же действует, но вы, я вижу, не из таких.

— Совершенно верно, не из таких.

— Вот и хорошо. Взаимопонимание, как я вижу, достигнуто. Остается получить ключ от номера.

— Сергей Павлович, уверяю вас, ни одного свободного нет.

— А триста третий?

— Откуда вы знаете? Это броня.

— Отлично. Это броня. Номер забронирован для возможных особо важных гостей. Отдайте его мне. Я как раз возможный особо важный.

— Не могу. А вдруг приедет еще более важный?

— Обязуюсь освободить номер в течение часа. — Час — это много.

— Ну, в течение получаса.

— Все еще много.

— Четверть часа. Идет?

— Идет, — сказала Вера.

Этот веселый, как бы подпрыгивающий разговор чем-то ее радовал. Она чувствовала, что нравится моряку. Ощущение, что ею любят, всегда подстегивало Веру, приподнимало, словно на крыльях (хотя какие уж крылья в ее возрасте?).

— Вот вам записка к старшему администратору. Можете занимать номер. Только чур: уговор дороже денег. Приедут по броне — я вас переселяю.

— Будьте спокойны. Испарюсь, как бес перед заутреней. Спасибо, будьте здоровы, — поклонился Юрлов и понес из двери в коридор свою гордую узкую голову.

Вера Платоновна покачала головой, сама над собой усмехнулась: «Когда же ты, мать, поумнеешь?» И снова взялась за счета — уже в хорошем настроении. На этот раз сумма сошлась.

В течение следующих трех дней она несколько раз встречала Юрлова в холле. Он

юмористически осведомлялся:

— Ну как, мышки не беспокоят?

— Нет пока. Живите спокойно.

Впечатление парящей где-то под потолком головы понемногу сглаживалось — перед Верой просто был очень высокий, очень стройный немолодой человек с шутливо—доброжелательным, откровенно любующимся взглядом. Грешным делом, он ей нравился...

На четвертый день Юрлов снова зашел в директорский кабинет.

— Если вы не заняты, мне бы хотелось с вами поговорить.

— Пожалуйста. Садитесь.

Вера залилась краской, как в юности — от щек, через шею, на грудь и лопатки. Даже неприлично в ее возрасте так краснеть — человек может бог знает что подумать...

Сергей Павлович уселся в кресло. Оно было новомодное, вертящееся. Он поворачивался немного туда-сюда и спокойно спросил:

— Вы не торопитесь? А то отложим...

— Нет, не тороплюсь.

Вера изнемогала от любопытства.

— Отлично. Я зашел, чтобы с вами поговорить. Предупреждаю, разговор будет серьезный, без дураков. Дело в том, что вы мне очень нравитесь. Не скажу, чтобы я уже любил вас, но, кажется, вполне готов полюбить. В вашем прекрасном лице показалось мне что-то родное, милое, светлое. Бывают редкие люди — источники света. Мне кажется, вы — такой источник.

Вера слушала развесив уши. Давно с нею никто так не говорил. Источник света... Юрлов поглядел на нее с усмешкой.

— Я понимаю. Вы из тех женщин, которые пьянеют от слов.

Она смутилась.

— Нечего смущаться. У каждого свои вкусы. Вам нужны слова, другим — поцелуи.

Вера смутилась окончательно.

— Так вот. Для чего я затеял весь этот разговор? Только чтобы сказать, что вы мне нравитесь? Этого мало. Что я готов полюбить вас? Этого тоже мало. Я пришел, чтобы вам сказать: как бы ни сложились наши отношения, я никогда на вас не женюсь.

— Какое право... Я разве дала вам право думать?..

— Не возмущайтесь, погодите. Мое отношение к вам таково, что я был бы счастлив, понимаете, счастлив на вас жениться. Но этого никогда не будет. Я женат.

(«Метель» Пушкина, подумала Вера. «Я несчастнейшее создание, я женат»). Гм-гм, что-то

дальше будет?)

— Я женат, — продолжал Юрлов, потихоньку поворачиваясь в кресле, — и женат, что называется, безнадежно. Моя жена лежит в параличе вот уже десять лет. И я никогда ее не брошу, пока она жива. И пока я жив. Теперь вопрос: сегодня после работы вы позволите проводить вас до дому?

— Отчего ж не позволить? Это ведь ни к чему не обязывает ни вас, ни меня.

— Меня обязывает.

Он поцеловал ей руку, и она увидела ровный пробор в его цельнокочканных серебряных волосах. Пробор был ярко-розовый, может быть, потому, что нагнуться пожилому человеку стоило все-таки известного напряжения...

Вечером он ее провожал домой. Этот вечер решил все. Нервно шумело море, полный месяц висел над ним и дробился в беспокойной воде широкой живой полосой, как будто прыгали и били хвостами тысячи рыб. Земля тоже была беспокойна: голубая в свете луны, она летела, мчалась куда-то очертя голову. Кое-где к луне присоединялись еще фонари и тоже бросали свой свет и свои тени; столбы света и черные тени ходили кругом, перекрещиваясь и сменяя друг друга, словно на гигантских ходулях. Все это было совершенно и удивительно: даже у деревьев было выражение лиц. В этом смещенном мире Вера со своим спутником шли и не могли остановиться, расстаться. Десять раз подходили они к дому, к железной ограде с низенькими воротцами, стояли, опершись на эти воротца, и кто-то из них говорил «ну», собираясь прощаться, а другой: «ну нет, пройдемся еще», — и снова они, взявшись за руки, шли к морю, пустынному в этот час, стояли там у самой кромки прибоя, и волны, одна за другой, радостно кивая гребнями, у их ног превращались в говорящую пену. И опять шли к дому и прощались, и опять, не в силах проститься, — к морю. За этот вечер они рассказали друг другу все. Ничего не осталось потаенного, запрятанного. Это было даже страшно своей неприкрытой распахнутостью. Она подняла к нему голову, и ветер накрыл ей глаза его шарфом. Тогда он сказал, твердо, отчетливо, как рапорт: «Я вас люблю».

...Дома Маргарита Антоновна:

— Верочка, побойтесь бога! Где вы пропадали? Вика спит — молодая! — а я не могу. Беспокоюсь о вас, беспокоюсь...

— Не зря беспокоитесь.

— А что такое? Что случилось?

— Маргарита Антоновна, я влюблена.

— Как? Опять?

— Нет, не опять. Впервые.

— Вот тебе и на! А муж? А этот, как его, всегда забываю, Валерий или Виталий? Такой интересный мужчина, жалко, пьяница...

— Все это было не то. Понимаете, только сейчас...

— Да-да, понимаю. Вы ведете себя как типичный мужчина, и притом бабник. Всякий бабник

клянется и божится каждой своей новой женщине, что он до нее никого не любил. «Все это было не то... Только сейчас...»

Вера рассмеялась — помимо воли. — Тургенев, первая любовь! — продолжала Маргарита

Антоновна. — Как хотите, в наше время это не звучит. Я лично любила много раз, но, кажется, ни разу — впервые...

И все же, размышляя об этой неожиданной-негаданной любви, Вера сама себе повторяла: впервые. Нет, грех было бы сказать, что она не любила Шунечку. Любила. Сначала как девчонка, потом — как подданная. А здесь — равенство, простота, доверие, правда. Впервые. И как же ей повезло, что встретилось в жизни такое. Могла бы ведь и умереть, не узнав...

Прошли еще два вечера нескончаемых провожаний, безумной луны, беспокойного моря, которое с каждым разом грохотало все громче, как бы аккомпанируя нараставшей любви... Придя домой, Вера садилась в кресло, вытягивала перед собой уставшие от модельных туфель, натруженные ноги и смотрела куда-то вперед стеклянными, невидящими глазами. Маргарита Антоновна была не на шутку встревожена:

— Все хорошо в меру. Никогда не надо терять над собой контроль. Это как на сцене: распусти себя, заплачь настоящими слезами, забыв о зрителе, — и что получится? Одни сопли, и никакого эффекта. Нет, моя дорогая! Женщина должна держать себя в руках. Помню, мама мне говорила (я еще девчонкой была!): «Марго, помни о своих ребрах! Ходи так, как будто тебя с двух сторон что-то подтыкает под ребра». И что? До сих пор, могу похвастать, я сохранила осанку. А почему? Помню о ребрах!

Нет, Вера о своих ребрах не помнила. Все бы так и шло: луна, провожания, улетания, если бы на третий день не пошел дождь. Волей-неволей пришлось привести Сергея Павловича в дом. Вера очень боялась Вики, но та вела себя вполне прилично. Сперва дичилась, а потом неожиданно обручнела. Разговаривала, даже улыбалась, выпуская на щеки призраки ямочек. Маргарита Антоновна — та вообще была сражена:

— Вот это мужчина! И рост, и манеры... Рука, седина... О боже, верни мне мои пятьдесят лет...

А еще через день Сергей Павлович улетел: кончилась его командировка...

Жил он постоянно в Москве, где была у него квартира, больная жена, взрослые дети — сын и две дочери, и четверо внуков. Квартира — огромная, старомодная, с дворцово-высокими потолками, без современных удобств, в когда-то роскошном купеческом доме. Лепнина на потолках (какие-то амуры в овалах), но протекающая от ветхости крыша — когда шли по лестнице, вверху светилось небо. Квартира была как-то глупо спланирована, вся вокруг ванной и уборной (пройти туда можно было не иначе, как через чью-нибудь комнату). Несмотря на огромную площадь, она была тесна для разросшейся недружной семьи. Разменять ее на две меньшие было практически невозможно, построить кооперативную — тоже (свыше ста метров жилой площади!). А он, хозяин всех этих метров, жил как-то сбоку, притулясь в одной из проходных комнат, через которую каждое утро проплывала для своих омовений толстая невестка в бигуди. Одинокий, неухоженный, он сам готовил себе еду (пельмени, сосиски — что попроще), даже сам стирал себе носки, трусы и майки, выжимая белье, как это делают мужчины, не крутящим, а прямым движением сильных рук. Дочери были ученые, злые, неопрятные, одна инженер, другая — физик. У инженера муж когда-то был, но ушел, бросив ее с двумя детьми, а физик до сих пор пребывала в девичестве. Сын, недоучившийся, по профессии фотограф, был полностью под башмаком у толстой своей жены, страстью которой

было считать деньги в чужих карманах. Свекра она терпеть не могла, считала сквалыгой и жмотом и, проходя через его комнату, брезгливо оттопыривала мизинец. Сергей Павлович зарабатывал немало, но вечно был без денег: половина зарплаты шла сиделке, ходившей за больной и требовавшей, чтобы ее кормили. Другая, как это бывает, уходила сквозь пальцы, превращаясь в засохший хлеб, скисшее молоко и книги, книги...

Как ему не хотелось туда возвращаться! Прощались они с Верой на аэродроме, возле низкого современного стеклянного здания с ходившими туда-сюда огромными дверями. Люди, люди — и зажатая среди них любовь... Пора, уже объявили посадку...

— До встречи, любимая, — сказал он, целуя ее на прощанье.

Они еще только целовались — не более, и о большем не помышляли. В этом что-то общее между ранней юностью и ранней старостью — там и там платонизм.

46

И вот пошли-потекли годы Вериной ранней старости, ее первой настоящей любви. Любовь была такая настоящая, что Вера даже стала равнодушна к словам. И без них все было ясно ей и ему. Они любили друг друга со всей нежностью много испытавших, помнящих о смерти людей. С благодарностью судьбе за каждый дарованный им день. С сознанием, что каждая встреча, возможно, будет последней. Целиком открытые друг для друга, со всеми своими «всячинками», как они выражались. Делились каждой мыслью, каждой радостью, каждым рублем. Оба, стесненные в средствах, счастливы были делать друг другу подарки. Нежно поздравляли друг друга с праздниками, с днями рождения, с годовщиной встречи... Восстановили в правах даже именины, чтобы чаще можно было поздравлять. Писали друг другу длинные письма, без конца их перечитывали, целовали. Да, целовали письма — глупые старые люди-Сергей Павлович приезжал нечасто — раза три-четыре в год — и всегда останавливался прямо у Веры. По-семейному. И впрямь стал он подлинным членом семьи. Все в доме привыкли к нему и его полюбили. И Маргарита Антоновна, и сатаненок Вика. Даже кот, Кузьма энный (Вера давно уже перестала нумеровать представителей котовой династии), — и тот терся о черные морские брюки и всем своим гордым существом выражал преданность... И сам Сергей Павлович полюбил всех в доме, включая Кузьму. Что касается Веры, то ее он обожал безмерно. Стоило видеть выражение его глаз — молящихся, — которыми он ее провожал, ласкал, лелеял... И особой любовью любил он дом как таковой. Все, в чем отказала ему судьба — уют, заботу, преданность, — он находил здесь. Не мрачную, жертвенную преданность, а светлую, веселую, мастером которой была Вера. «Ведь я эгоистка, — говорила она, — жертвовать собой не умею»... Как чудесно было, придя с работы, войти в уютную комнату, пахнущую цветами. Сесть за нарядный стол, накрытый вышитой скатертью со свежими, еще не расправленными складками от утюга. Погрузить ложку в сияющий, прозрачный бульон. Закусить пирожком, тающим во рту и выщающим нежный секрет своей начинки... Во всех этих вещах для усталого, заброшенного, немолодого человека было далеко не просто служение телу. Если уж служение, то какому-то древнему богу семейного очага... После обеда Сергей Павлович читал газету, неторопливо переворачивая листы, а Вера сидела рядом: шила, либо чинила носки (он уже давно забыл, что носки вообще чинят), либо тоже читала, но погружаясь в книгу не целиком, а только частью внимания, как спящая мать не целиком спит, готовая в любую минуту встать к своему ребенку... «Дай руку», — говорил иногда Юрлов, и она протягивала ему руку, не слишком-то нежную, довольно крупную, и он целовал ее в ладонь, переходя от бугорка к бугорку... Верины мозоли безмерно его умиляли.

А вот с Маргаритой Антоновной у Сергея Павловича был роман — иначе не скажешь. Вели она долгие беседы, прямо-таки флиртовали. Маргарита Антоновна бурно выказывала свое

восхищение (она вообще чувства свои проявляла бурно) и без взаимности не оставалась. Разговор их был как теннисный матч: реплика за репликой, реприза за репризой. Мяч, мяч, еще мяч, отдан, отдан, превосходно, аут! И оба смеялись. Сергей Павлович красовался, веером распустив свой павлиний хвост. Вере иногда даже становилось обидно, что он красуется не перед ней, она говорила: «Сереженька, я тоже хочу хвост!» — «Глупая, — отвечал он, — перед тобой мне его распускать незачем. Все равно что перед самим собой». — «А распускать непременно надо?» — «Непременно, а то атрофируется». — «И женщине тоже?» — «Ну нет, хвост, как известно, только у павлина. У павы его нет».

А с Викой Сергей Павлович подружился совсем по-особому. Ему одному девочка поверяла свои сердечные тайны. Чтобы побыть наедине, без тетушек, они шли куда—нибудь в ресторан (это у них называлось «прожигать жизнь»). Впрочем, прожигали более чем скромно. Вика терпеть не могла лишних расходов, заказывала какие—нибудь сосиски с картофельным пюре, бутылку фруктовой воды, иногда — пирожное. Сидели долго, невзирая на гневные взгляды официанток. Под звуки ресторанной разухабистой музыки, под шарканье ног танцующих так хорошо говорилось! Вика оципывала рукава своего платья (все на ней, многократно стиранное, всегда выглядело тесновато и маловато, словно она его донашивала после младшей сестры). Закуривала папиросу и, сделав пару затяжек, сминала в пепельнице — все это нервными, куда-то летящими движениями...

Однажды, вернувшись из ресторана, она нехотя попросила:

— Тетя Вера, сшейте мне, так и быть, новое платье.

— Да ну?!

— Это я не для себя, — свирепо пояснила Вика, — а для дяди Сережи, чтобы ему не стыдно было ходить с такой замарашкой.

— Ты не замарашка, ты Золушка, — сказала Маргарита Антоновна, — и вот увидишь, случится чудо, добрая фея придет за тобой карету из тыквы, запряженную шестеркой...

— Мышей, — перебила Вика, — которые так мышами и останутся.

...Платье было сшито, и очень удачное — васильковое, со звездным узором, и Вика была в нем такая красивая, что даже сама на себя в зеркале не сердилась...

Приезды Сергея Павловича были всегда праздниками в доме. Увы, они быстро кончались. Со своей всегдашней привычкой всюду видеть светлые точки, Вера и здесь ухитрялась себя утешать: «Праздники тем и хороши, что редки. А кто знает, сумели бы мы их сохранить, если бы всегда жили вместе? И в конце концов, я сама себе выбрала такую, как говорится, личную жизнь...»

И еще у них бывали праздники... Раз в году, в свой очередной отпуск, обычно зимой (мертвый сезон в гостинице), Вера сама приезжала в Москву. Останавливалась она не у сестры Жени (та с годами стала ханжой и Вериного поведения не одобряла), а у своей давней приятельницы, генеральши Ивлевой, сыновья которой, Пека и Зюзя, ходили у Веры в приемных племянниках. Марья Ивановна, слава богу, не изменилась, только еще пуще растолстела и трагически это переживала («Знаешь, Вера, в одной английской книге сказано, что в каждом толстом человеке сидит тонкий и плачет!»). Верина беспечная жизнерадостность ее восхищала и поздний роман — тоже («А я-то, дура, всю жизнь ухлопала на этих оболтусов!»).

«Оболтусы» с годами немного остепенились, дрались теперь не на кулачках, а на словах, и в

этом младший старшему не уступал нисколько. Оба успели пожениться и завести двух мальчиков — толстого и тонкого, необычайно крикливых, из которых толстый был до того похож на бабушку-генеральшу, что их можно было спутать. Обе невестки были веселые неряхи, по дому бушевала пеленочная метель... Время от времени Марья Ивановна, сама не очень-то порядливая, но получившая строгое воспитание, впадала в истерику и кричала: «Уйду из этого дома!» — никто этого всерьез не принимал, даже она сама. Сходив на работу, как ходят в баню, она успокаивалась и начисто обо всем забывала. «У моей жены характер скверный, но без настойчивости», — говорил генерал. Сам он, мало постаревший, худой и темнокудрявый, ухитрялся заниматься в этом бедламе и даже пел песни — фальшиво и громко. Петть во время работы было в его обычаях. По вечерам в доме вообще все орали песни, кто во что горазд (слуха ни у кого не было), а генерал, сидя за письменным столом, пел что-то свое, тоже крайне немзыкальное, зато ритмически выстукивал по полу всеми четырьмя ножками стола (во время работы он предпочитал держать его на весу, подпирая коленками). Иногда во всеобщую какофонию включались оба младенца, которые начинали орать всегда синхронно. Укутав, их выкидывали на балкон, в специальный «ребячий ящик», и закрывали двери, чтобы не было слышно...

Словом, было от чего с ума сойти. Но странное дело: здесь Вере было куда уютнее, чем в Жениной вылизанной квартире с лакированными светлыми палами и импортной мебелью, где сестра Женя, сажая Веру на тахту, никогда не забывала подсунуть ей подушку, чтобы та, боже упаси, не засалила головой обоев. А в бесчинстве оголтелой семьи Ивлевых Вера чувствовала себя как рыба в воде. Главное, была она тут любима, нужна.

Часто удавалось ей поддержать упавший дух хозяйки дома, сокрушавшейся, что все у них не как у людей. «А у людей, как у вас?» — смеясь спрашивала Вера. За год в семье накапливалось множество хозяйственных дел, которыми здесь никто не занимался, резонно рассуждая: «Почему я, а не он?» Утеплить балконную дверь, перебить тахту, провалившуюся до полу, обуздать холодильник (он повадился рыдать по ночам) — все это Вера брала в свои руки. Кое-что она делала сама, кое-что — руками наемных умельцев, надменных или пьяных частников, которых ухитрялась где-то раздобыть и даже заставить работать (у генеральши все такие попытки кончались тем, что мастера брали аванс и исчезали бесследно; вообще у нее была плохая привычка давать деньги вперед). Кроме того, Вера брала в свои руки «обжорную сторону жизни», которая здесь была не на высоте. Пеклись пироги и с воплями радости пожирались всей семьей, включая толстую генеральшу, которой мучное было строго запрещено. Вообще она приступами садилась на диету, широко оповещая об этом всех домашних («с сегодняшнего дня исключаю углеводы!»), но Вериних пирогов исключить не могла. «А как же тонкий человек?» — спрашивали ее. «Пусть плачет!» — отвечала она, махнув рукой.

А любовь? Любовь шла своим чередом, в отпущенных судьбой границах. Приехав, Вера в тот же день звонила Юрлову на работу (домой было опасно, телефон сдвоенный), и они уславливались когда и где. Встречались эти двое пожилых людей по-юношески бездомно, где-нибудь в вестибюле метро, в потоках мчащихся людей с портфелями и чемоданами, чувствительно поталкивавшими их в бока. А потом шли куда-то по улице, плечо в плечо, душа в душу, — шли куда, просто в дымный мороз с радужными ресницами фонарей...

Отогревались на лестницах. О, как много лестниц в Москве — есть удобные и неудобные, темные и светлые, есть даже с широкими подоконниками, где можно присесть... А площадку выбирать надо с умом — не слишком низко (много ходят мимо), но и не слишком высоко (могут спросить: «Вы к кому?»). Сидели подолгу, глядя друг другу в глаза, говоря о пустяках, но смысл был: «Это ты?» — «Да, это я». Оба — в зимних, тяжелых пальто, отделенные друг от друга плотными этими одеждами. Только руки доступны и, урывками, губы. Как выразительны

губы в спешке тревожного поцелуя, готового в любую минуту прерваться шагами по лестнице... Испуганно отшатывались друг от друга... Вера смеялась: «Мы с тобой — как влюбленные десятиклассники!» И все же безмерно богатыми были эти юношеские встречи. Разумеется, Вера могла бы, пользуясь своими связями в этой системе, достать (не без труда) отдельный номер в какой-нибудь гостинице... Но все в ней ощетинилось при одной мысли об этом. Надо будет кого-то посвящать в свои дела, терпеть на себе чужие любопытные взгляды... Да и не нужен был им, в конце концов, этот отдельный номер с наемной постелью! Не в этом, о, не в этом было главное....

И как же все-таки они были счастливы! Во всей бездомности, в морозном чаду, в гулкости кошками пахнущих лестниц! А главное, ни на минуту не забывали, что счастливы. Как это редко бывает: себя сознающее счастье! Обычно люди ухитряются терзать себя тысячью мелочей и только потом спохватываются: это и было счастье.

47

В один из своих приездов Сергей Павлович был не по-обычному занят и озабочен. Шли решающие натурные испытания, от которых зависело: быть приборам Юрлова или не быть? В случае успеха открывались серьезные перспективы оснащения такими приборами ряда кораблей торгово-пассажирского флота. В случае неудачи — закрытие работ. В частности, от исхода опытов зависела и возможность новых приездов, новых встреч в будущем. А много ли у них с Верой оставалось будущего? И сердце у него ныло.

На Верины вопросы о ходе испытаний он отмалчивался. «А это опасно?» — допытывалась Вера. «Жизнь вообще опасна, — шутил он. — Каждый день, переходя улицу, мы рискуем попасть под машину. И ничего, как видишь, живем. А наши приборы, кстати, как раз и задуманы для спасения жизней...»

Чаще прежнего он брал ее ладонями за щеки, глядел ей в глаза, после чего целовал нежно и бережно, «безалкогольно». По вечерам возвращался поздно, иной раз до того вымотанный, что даже обедать не мог — сразу ложился спать. Вера лежала рядом, без сна, в неясной тревоге, и следила, как движутся тени от распышневшего сада на светлом полу. Опять полнолуние — для нее полнолуние всегда было тревожным. «Может быть, я лунатик в душе», — говорила она.

Как-то вечером, поджидая Сергея Павловича, Вера сидела и шила. Время было позднее, светила луна, заливались собаки. Тяжелыми ударами грохотало море, деревья метались в саду.

Вдруг зазвонил телефон — резко и нагло, как всегда кажется резким и наглым ночной звонок.

— Вера Платоновна? — спросил незнакомый мягкий мужской голос. Бархатный баритон.

— Да, это я.

Что-то было зловещее именно в мягкости, человечности этого голоса. У Веры упало сердце, уже угнетенное луной.

— Простите за беспокойство, — — сказал баритон. — Юрлов, Сергей Павлович, вам знаком?

— Да, конечно.

— Еще раз простите. Мне самому тяжело. Он дал мне ваш номер и просил именно вам сообщить...

— Что сообщить? — закричала Вера. — Что случилось?

— Не знаю, как вам и сказать... Такая неприятность...

— Говорите, черт вас возьми! — заорала Вера, забыв о приличиях.

Баритон был снисходителен, по-прежнему мягок:

— Боюсь, что случилось плохое... Самое плохое... Мне поручили вас подготовить, но я сам нервен, почти в истерике. Дело в том, что катер, на котором шли испытания, уже много часов не дает о себе знать. По-видимому, произошла катастрофа. Обстановка тяжелая, море штормит. Мы не теряем надежды. Но будьте готовы ко всему...

— Спасибо, — механически ответила Вера.

На том конце положили трубку. Вера отошла, села в кресло, отодвинула в сторону шитье, зажала руки между колен.

— Вот моя жизнь и кончена, — сказала она вслух. Собаки заливались отчаянно. Луна шла по улице на длинных серебряных лучах. Бухало море. Жизнь была кончена, кончена. В каком-то смысле это было справедливо. Слишком велико было счастье. «Выпить бы водки», — подумала Вера. Водки в доме не было. Она пошарила в шкафчике, нашла нашатырный спирт, усмехнулась. «Еще успею», — сказала она и поставила пузырек обратно. Размеренно бухало море, наступая на жизнь. В доме все спали — и Маргарита Антоновна, и Вика. Еще узнают в свое время. Все успеется.

Она сидела долго, ни о чем не думая, в каком-то странном спокойствии, исходившем от слов: «Все успеется».

Часа в три ночи тренькнул звонок входной двери. Это не он — у него свой ключ. Звук был маленький, робкий, как будто звонивший боялся разбудить, потревожить. «Чего уж теперь бояться?» — подумала Вера. Все было ясно: принесли его. Она пошла открывать.

На пороге стоял Юрлов — без шапки, светясь в лунном свете узкой серебряной головой с разметанными волосами.

Вера ахнула и начала сползать, соскальзывать все ниже и ниже, пока не оказалась у самых его ног, обхватив их руками, целуя что-то на уровне своих губ — скорее всего, брюки.

— Вера, родная, опомнись, что ты делаешь, что с тобой? Вера опомнилась, поднялась с колен, держась за его руку.

— Понимаешь... Позвонил какой-то человек. Я думала, тебя уже нет.

Юрлов застонал даже:

— Экий болван! Какой черт его за язык тянул? Заставь дурака богу молиться...

— Значит, катастрофы не было?

— Ничего серьезного. Перевернулись. Вымокли. Ключ вот утопил. Целы.

Это он говорил, входя в дом, обнимая Верины плечи.

— Успокойся, родная, все хорошо. Никуда я не денусь. Переоделся, видишь, в чужое. Брюки короткие. Настроение прекрасное. Правда, погода для купанья неважная, ну да ничего. Водки бы сейчас выпить...

— Нету водки, — сказала Вера. — Чаю тебе надо, горячего. Сейчас вскипячу.

Они пили чай, а море радостно грохотало, и луна сияла на весь сад, на весь мир.

— Кстати, — вспомнила Вера, — как там вышло с твоими приборами? Если вы перевернулись, значит, они...

— Напротив! Как раз приборы-то вели себя превосходно! В самой критической, как у нас говорят, в экстремальной ситуации! Молодцы приборы! Эх, выпить бы за них, да водки нет...

Чокнулись чаем.

48

Весна. Шепоток дождя на улице, цветами и сыростью веет из сада. Под дыханием тонкого ветра занавеска на окне вздувается и опадает. По дому как будто все сделано — можно позволить себе сесть за письмо.

"Дорогой мой Сереженька, — писала Вера (щедро рассыпая лишние запятые, которые мы опустим), — ты меня упрекаешь, что редко пишу. Если бы ты знал, сколько писем я написала тебе мысленно! А вот физически — не выходит. Сейчас в гостинице самый горячий сезон — подготовка к летнему, «демографическому взрыву». Скребем, чистим, моем. А еще дела по модернизации, благоустройству! Обычно все мои хозяйственные «проекты» разбиваются о преграды хозрасчета. А в нынешнем году они финансируются из фонда капитального ремонта, который не был использован по назначению и теперь «горит». А я к этому пожару вовремя присоединилась. Все это стоит многих хлопот, беготни и даже физического участия. Устаю я предельно. Горят подошвы, ноют мышцы, еле дотаскиваю остатки своего "я" до дома. Это уже 7 — 8 часов. Еще час или два через силу вожусь по дому. Потом ужинаем. А потом я перехожу на «второе дыхание» и сажусь за шитье. Нужно и себе что-то сделать к летнему сезону, и Маргарите Антоновне, и Вике. Кстати, наша царевна-несмеяна не так уж равнодушна теперь к нарядам (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, у нее завелся какой-то мальчик, звонит и поддельным басом спрашивает «Викторию»).

А после шитья надо еще написать письмо. Увы, не успеваю! Сразу меня начинает одолевать сон, лень или телевизор. Ты, я знаю, телевизор не уважаешь, а я принадлежу к категории массовых зрителей. Ерунду всякую стараюсь не смотреть, но иногда нет сил отказаться. Например, фигурное катание люблю до мурашек по коже. К тому же у меня нет сейчас других способов процветания. А ты мне велел процветать, правда? Я и процветаю как могу. Иной раз на ногах не держусь от усталости, или нервы издергают на работе, или вдруг холодок одиночества повеет (не прими за упрек!), но никогда, понимаешь, никогда у меня не иссякает чувство радости жизни!

И всегда планы, планы, на близкое, на далекое — все равно. На твой возможный (под вопросом) приезд. На нашу зимнюю встречу, хотя до зимы еще ох как далеко! Или на пароходную поездку по премиальной путевке. Кстати, премию денежную я уже истратила. Побегала по магазинам и с пользой для себя и для советской торговли оставила там свои шальные денежки. Купила давнюю голубую мечту: сушилку для волос под названием «Улыбка». К моему настроению это вполне подходит, будем улыбаться всеми возможными способами. «Улыбка» стоит дорого, 25 рублей, так что другим «голубым» придется стать в

очередь.

Тебе тоже купила кое-что голубого цвета (не бойся, не кальсоны!), что именно — писать не буду, приедешь — увидишь. Настроение у меня хорошее (ведь я как кошка — играю своим хвостом!), падает, только когда гипертония разгуливается. Она у меня давно, и вполне терпимая, но иногда все-таки дает о себе знать. Иду в поликлинику, мне пишут рецепты, советуют изменить режим. Рецепты складываю, режим от меня не зависит, так что все остается по-старому и постепенно само собой входит в норму. Тяжело только летом, в самую жару, особенно дорога (трамваем, автобусом, два конца — ужас!), но дома, под орехом, почти всегда дует освежающий ветер, так что удается прийти в себя. Но жара еще в будущем, а пока что наслаждаюсь весной. Это любимое мое время года, что бы ни говорил Пушкин. «Пора планов и задумок» (был недавно такой заголовок в газете). Вот и у меня задумки, которые надеюсь осуществить при поддержке начальства. С ним, как всегда, у меня отношения идиллические (ты же сам говорил, что я «из весело пасомых»). Так что на работе все кипит ключом.

А дома — просто чудесно. Ты знаешь, как я люблю свой сад. Сейчас он весь распушился — ты бы его не узнал. Уже месяц стоит теплая, весенняя погода. Цветут фиалки, ландыши, пионы. Сирень переваливается через забор. Какая это прелесть — растущие цветы! Их так много, и такие разные, и так пахнут, что Маргарита Антоновна, выйдя утром в сад, говорит: «Благодарю тебя, создатель, за происхождение видов!» А сегодня впервые за месяц идет тихий, но бодрый дождь. Для нас с цветами это подарок с неба. Все-таки поливать не всегда успеваю и чувствую себя виноватой перед своими любимцами...

Звонят. Кто-то пришел. Хорошо бы почта и письмо от тебя!"

Вера открыла дверь на крыльцо. И в самом деле — почтальон, мокрый, в потемневшем стоячем плаще. Улыбается — тоже рад дождю.

— Ларичевой повесточка, позвольте вручить.

Почтальон, давний знакомый, любил выражаться цветисто и уменьшительно. Вера дала ему гривенник, он сказал «очень вами», откозырял и ушел.

Повестка была из управления. «Тов. Ларичевой В. П. Предлагается немедленно по получении явиться по адресу: Проезжая, 7, комн. 10 к зам. дир. производственного управления тов. Желудеву Н. А.» Подпись неразборчива.

Вера поморщилась. Желудева Н. А. она едва знала, в идиллические отношения с ним еще не вступила. В управление по хорошему делу не вызовут, наверно, какая—нибудь кляуза. Может, успел пожаловаться тот, усатый, которому она не позволила после одиннадцати часов держать в номере гостью? Девушка была наглая, голубовекая, коленками врозь, с невымытыми прямыми волосами, раскиданными по плечам. Сам усатый тоже особой чистотой не отличался, при ходьбе вертко шевелил обтянутым задом, на котором дыбом вставал яркозаграничный геральдический лев. Нетвердо знал, как его гостью зовут (называл ее то Аллой, то Людой), но Веру грозился «привлечь за бюрократизм», намекая на какие-то сверхмощные связи... Впрочем, что гадать: усатый не усатый, — надо идти. Вера вернулась к прерванному письму и приписала:

«Зачем-то вызывают в управление. Вероятно, пустяк какой-то. Сразу как схожу — напишу. Целую тебя, милый. Пожалуйста, будь здоров. В.»

Зам. дир. управления тов. Желудев Н. А. был на этом месте человек новый, откуда-то переведенный, говорили, что с понижением. Возможно, в связи с понижением, а может быть, и по другой причине его лицо выражало застарелую кислотность. Был он тучен и лыс, с повисшими сивыми усами, и походил на только что высеченного запорожца. Сцепив руки перед животом, он непрестанно и очень быстро вращал большие пальцы один около другого. Создавалось впечатление какой-то деловой мельнички, неустанно молившей вопросы...

— Товарищ Ларичева, Вера Платоновна? — Голос для запорожца был неожиданно тонок. — Рад познакомиться. Я — Желудев, Николай Александрович. Слышал о вас, слышал. Выдающийся работник, можно сказать, маяк производства. Маякам везде у нас дорога. Просим...

Все это он произнес, не расцепляя рук и не прекращая на высокой скорости вращать пальцами. Вера села.

— Как поживаете, Вера Платоновна? Как здоровье?

— Пока не жалуюсь, — ответила Вера, выпуская на свет божий самую заветную из своих улыбок, на которую отзывались почти все. Желудев не отозвался. Тон его был заботлив, немного грустен:

— Может быть, испытываете какие-нибудь трудности? Если что, смело обращайтесь прямо к нам. Мы поможем.

«Мы, Николай Второй, — подумала Вера, — и, как нарочно, Николай Александрович», — а вслух сказала:

— Спасибо, буду иметь в виду. Это вы затем меня вызвали, чтобы предложить помощь?

Желудев еще погрустнел, словно тучей обложился.

— Нет, к сожалению, не только за этим. Дело в том, что на вас, Вера Платоновна, поступил сигнал. И, будучи ответственным за морально-политическое состояние вверенного мне участка...

«Так и есть, усатый пожаловался», — подумала Вера. Желудев не спеша отпер несгораемый шкаф, порылся в нем, вынул письмо и протянул Вере. В письме, написанном довольно красивым почерком, но с орфографическими ошибками, сообщалось, что директор гостиницы «Салют» Ларичева В. П. «позволяет себе аморалку с гражданином Юрловым С. П., который является женатым и при помощи Ларичевой В. П. разрушает свою семью. Приезжая в командировку, якобы по служебным делам, Юрлов С. П. останавливается на квартире у Ларичевой В. П., днюет там и ночует, утром выходит на террасу, извиняюсь за выражение, в трусах и делает зарядку». Далее шла критика по поводу манер и поведения самой Ларичевой: «хи-хи-хи да ха-ха-ха, а работа стоит. Широко пользуется своим обаянием на мужской пол». Подписано: «Доброжелатель».

Вере стало довольно гадко, но она и виду не подала.

— Николай Александрович, — сказала она улыбаясь, — письмо, я вижу, анонимное?

— Не анонимное, а анонимка, — поправил Желудев. — А что?

— На такие письма уважающие себя люди внимания не обращают. Читали воспоминания академика Крылова? По указу Петра Первого, анонимные письма полагалось сжигать рукой

палача...

Авторитет академика на Желудева не подействовал.

— Что вы мне ссыпаетесь на времена царизма? Палачи какие-то... Там была своя мораль, а у нас — своя. Вы говорите: оставлять без внимания анонимки! А если пишет зависимый, подчиненный человек? Боится подписать свое имя во избежание репрессий? Не так все просто, товарищ Ларичева! Нет, руководящий работник должен любой сигнал рассмотреть по существу. И, если факты подтвердятся, принять меры.

— Это ваше дело, — сказала Вера, вставая. — Рассматривайте, принимайте меры. Мне можно идти?

— Нет, постойте! Вы мне не ответили по существу вопроса. Правда, что вы состоите в незаконной связи с... (он заглянул в письмо) Юрловым С. П.?

— А на этот вопрос я вам отвечать отказываюсь.

— Ответите коллективу, Ларичева!

— Надеюсь, что коллектив будет умнее вас. ...Последнее слово осталось-таки за ней. Она ушла, покуда Желудев Н. А. разевал рот и набирал воздуха, чтобы ее уничтожить разящим словом...

Из управления Вера вышла с улыбкой. Испытанная улыбка, еще Шунечкина: «Улыбайся, и тебе самой станет весело». Она это называла по-ученому: «Влияние надстройки на базис». Но в данном случае надстройка на базис не повлияла. Придя домой, Вера сняла улыбку, как снимают нарядное, но неудобное платье, и облачилась в моральный халат. Маргарита Антоновна застигла ее на кухне, глотающей слезы над кастрюлей борща. Борщ был вынут из холодильника — великолепный, малиновый, с янтарными пластинками застывшего жира, а Вера стояла над ним и плакала.

— Верочка, в чем дело? — всполошилась Маргарита Антоновна. — Может быть, там утонула мышь?

Сама она до смерти боялась мышей и всех других в том же подозревала.

— Не так страшно, — ответила Вера, уже улыбаясь.

— Ну, вот и солнышко проглянуло! Слава богу! В чем же дело?

Вера рассказала, зачем ее вызывали. Маргарита Антоновна выслушала, красноречиво играя лицом, а потом длинно и затейливо выругалась. Русские ругательства в устах народной артистки Куниной были как жемчужное ожерелье...

— Скажите этому... (следует купюра), что он отстал в своем развитии по крайней мере на двадцать лет. Кто нынче не живет с женатыми? Солидные люди все женаты. Вокруг каждого неженатого — площадка молодняка. А что делать зрелой женщине? С кем жить?!

Вера совсем развеселилась:

— Боюсь, он не поймет вашей теории. Не тот уровень.

— Уровень мне ясен. Знаете что, Верочка? Предоставьте его мне.

— Кого «его»?

— Вашего Желудкова.

— Желудева.

— Тем лучше. Пускай Желудева. Забудьте о нем. Обещаю вам — все будет прекрасно. У меня к хамам особый подход.

50

Желудев Н. А. сидел за своим столом и трудился над очередным запутанным делом. Жилица одного из общежитий жаловалась на соседа-монтера, что он не дает ей покоя и нарочно в местах общего пользования, у нее за стеной, издает непристойные звуки. Сосед, напротив, в своей объяснительной записке утверждал, что звуков он особых не издает, а что соседка сама украла у него свисток от чайника. Ко всему этому был приложен акт комиссии жильцов, которая расследовала обстоятельства, записала звуки на магнитофон и пришла к заключению, что монтер — вовсе не хулиган, а «нормально функционирующий мужчина». Желудев только что написал ответное письмо жалобщице, где советовал ей предать эпизод забвению, намекал, что сама она не безгрешна (свисток от чайника?) и заканчивал любимой своей фразой: «Желаю вам доброго здоровья и хороших отношений с соседями».

«Трудное наше дело, — думал он, — в какие вопросы вникать приходится...»

В дверь постучали.

— Войдите.

Вошла странно одетая немолодая дама в розовой шляпке и с кружевным зонтиком в руках. Этим зонтиком она вертела так быстро, что у Желудева замельтешило в глазах.

Если бы он бывал в местном театре, то узнал бы в вошедшей даме образ мамыши Огудаловой из драмы Островского «Бесприданница». Но Желудев в театре не бывал, по занятости.

— Чем обязан? — спросил он (зам. дир. ценил хорошие манеры и считал себя человеком тонкого воспитания).

— Я народная артистка Кунина, — сказала дама глубоким, вибрирующим голосом.

Желудев, разумеется, знал Кунину по кино, как каждый человек в Советском Союзе. «Тэрзай меня, тэрзай!» — пронеслась в его памяти знаменитая фраза. Польщенный посещением, он почувствовал и себя косвенно знаменитым. Он заулыбался, усы оттопырились:

— Очень приятно. В высшей степени приятно.

— Вы меня знаете?

— Кто же вас не знает, товарищ Кунина?

— Тем лучше. Я пришла к вам по личному делу. Глубоко личному. Могу я попросить, чтобы во время нашей беседы никто не входил?

Желудев запер дверь на задвижку, сел в свое кресло и указал посетительнице на стул:

— Садитесь, товарищ Кунина. Я вас слушаю.

— Нет-нет. На стуле я не могу. Отдайте мне ваше кресло, а сами сядьте на стул. У меня тонкая организация, нервы по всему телу... В любую минуту могу упасть в обморок... Или в наше время мужчины уже не рыцари?

Это прозвучало с таким надрывом, что Желудев засуетился, освобождая кресло. Даже отодвинул его от стола, чтобы было просторнее... Маргарита Антоновна томно раскинулась в кресле, а Желудев притулился на краешке стула в позе просителя. Пересаженный из кресла на стул, он почувствовал себя беспомощным, психологически голым...

— Ах, — закатила глаза Кунина, — вот мне уже и дурно... Воды!

Запрокинув голову, полулежа, она выставила вперед левую ногу, и Желудев с ужасом увидел ярко-оранжевые панталоны с черными кружевами. «Тэрзай меня, тэрзай!» — опять пронеслось в его памяти, но уже угрожающе. Он метнулся за графином, налил воды в нечистый стакан и поднес его к приоткрытым, неровно покрашенным губам гостыи. Кунина проглотила несколько капель, взмахнула черными ресницами (каждая со спичку толщиной) и заговорила:

— О, благодарю вас от души, товарищ Желудкин...

— Желудев.

— Ах, это все равно. Перед лицом той трагедии, о которой идет речь, не все ли равно: Желудкин, Желудев...

— А о какой трагедии идет речь? — опасливо спросил Желудев.

— О любви. О последней, трагической любви. Помните, у Тютчева: «Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней...»

Желудев Тютчева не читал, но закивал понимающе, как кивают люди, когда речь заходит о чем-то, чего они не читали, хотя и должны были читать...

— Я люблю, люблю, — продолжала Кунина. — Кто сказал, что возраст — помеха любви? Нинон де Лакло любила до восьмидесяти лет, нет, до девяноста! И кто посмеет ее упрекнуть? «Люби, куда любишься», — сказал великий поэт Некрасов. Или вы с ним не согласны?

— Согласен, согласен, — заторопился Желудев («Хоть бы пришел кто, — подумалось ему, — сам, дурак, запер дверь на задвижку...»).

— Конечно, можно было бы оставить все на уровне чистой лирики. Но что поделаешь? Я привыкла любить объемно...

Маргарита Антоновна явно выходила из образа, и это Желудева тревожило, хотя он и сам не мог бы сказать почему. Он ерзал на стуле, издавая неопределенно— успокоительные звуки.

— Но это все прелюдии. Приступим к делу. Я живу в одном доме с Верой Платоновной Ларичевой. Известно вам такое имя?

— Ну, известно...

— Я-то знаю ее давно. Женщина добрая, хозяйственная, между нами говоря, глуповата, но невинна, как курица. И вот, приходит в слезах и рассказывает, что вы ее вызвали — страшно

сказать! — по вопросу о ее якобы связи с Сергеем Павловичем Юрловым. Было это?

— Так точно. Поступил сигнал... Я был вынужден отреагировать.

— И в этом дурацком, как вы его называете, сигнале (я бы попросту назвала его доносом!) сказано, что Сергей Павлович днюет и ночует у Ларичевой? Выходит на террасу в трусах? Так или не так?

— Ну, так...

Стул, на котором сидел Желудев, был жесток, почти кололся.

— Ха-ха-ха! — истерически раскатилась Маргарита Антоновна и предательски стала выдвигать вперед левую ногу... Желудев поглядел на эту ногу, как кролик на кобру.

— Успокойтесь, ради бога, товарищ Кунина... Почему вы так волнуетесь?

— Он мой любоуник! — воскликнула Маргарита Антоновна.

Желудев оцепенел.

— Вы хотите бросить в меня камень! Да-да, я вижу камень в вашей руке! А по какому праву? Помните картину Поленова «Христос и грешница»? «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень...» Или вы — без греха?

Желудев решительно ничего уже не помнил и только ждал, когда все это кончится.

— ...Конечно, в моем возрасте уже не думают о любви. Но тут я не могла устоять. Рост, манеры, седина... Тренированность... Вот эти трусы по утрам — да, трусы! Словом, я затрэпэтала... как юная девочка... Даже сейчас, когда я вспоминаю пэrvые дни нашей любви...

Лицо исчезло за вышитым носовым платком. Голова в розовой шляпке упала на спинку кресла, левая нога... «О боже, только бы не эти оранжевые с черными кружевами...» — в ужасе подумал Желудев. Маргарита Антоновна внезапно выпрямилась и метнула на него огнедышащий взгляд:

— Что вы на меня так смотрите? Я плачу, а не что-нибудь другое делаю!

Это Желудева доконало. В полной растерянности он забормотал:

Товарищ Кунина... Это недоразумение... На вашу личную жизнь никто не посягает...

— А эту курицу, Ларичеву, вы в покое оставите?

— Оставлю...

— Честное слово рыцаря? — Честное слово!

— Верю вам, — сказала Кунина голосом Марии Стюарт, собрала свои вещи — зонтик, сумочку, перчатки — и выплыла из кабинета...

Смеху было дома, когда Маргарита Антоновна все это изображала в лицах! Особенно она нажимала на оранжевые панталоны: «Классический кафешантан прошлого века». Эти панталоны остались у нее от знаменитой роли, где она танцевала канкан...

— Если б не астма, — сказала она мечтательно, — я бы до сих пор его танцевала...

Веру и в самом деле оставили в покое. А в скором времени исчез с горизонта и сам Желудев Н. А. Его сняли «за нетактичное поведение». Рассказывали, будто он всю переписку по делу о звуках и свистке от чайника вложил случайно в папку «на доклад директору». Тот прочел, и... можете себе представить.

51

Праздновали день рождения Веры Платоновны Ларичевой. Сначала отмечали официально, по месту работы. Начальство, учитывая круглую дату (60!) и отличное состояние гостиницы, не поскупилось, наградило юбиляршу почетной грамотой, денежной премией (60 р.) и ценным подарком — мраморной не то вазой, не то урной с ручками, похожими на уши, и золотой надписью «За доблестный труд». Сотрудники тоже не растерялись, скинулись заранее и преподнесли Вере складной японский зонтик, торшер и шезлонг. Это не говоря уже о цветах.

В шесть вечера, задаренная, зацелованная и возвеличенная управлением, месткомом и парткомом, Вера уехала домой; за нею, в служебной машине, везли «оборудование» (одна урна потянула килограммов тридцать). А дома были уже в разгаре приготовления к празднику; гостей ожидалось много. Пахло пирогами, ванилью, всякой снедью и розами, розами... Стряпней сегодня распоряжалась старший администратор гостиницы, Ольга Петровна, Верина «правая рука», которая на работе иногда взбрыкивала, а на кухне прямо расцветала. Готовить она была мастерица, в своем роде не хуже самой Веры Платоновны, но не по рецептам, а по вдохновению — как выйдет. Сегодня она фаршировала индейку грецкими орехами и была в ударе — красна и красива.

Молодежь накрывала на стол. Ну, не такая уж молодежь, не зеленая, но для Веры все они бии дети. Прежде всего Вика со своим женихом Гришей. Только подумать, у Вики жених! Невидный студентик с прямыми русыми волосами, пряменьким носиком и вздрагивавшей от волнения верхней губой.

Он был года на четыре моложе Вики, что мучило ее чрезвычайно («связался черт с младенцем!»), но она в любую минуту готова была уступить свое место другой достойнейшей. Как они друг на друга глядели — какими глазами, ссорящимися и обожающими, плывущими и отчаянными! Казалось, что они связаны невидимой пружиной, которая, натягиваясь, мучила их и тянула друг к другу. Время от времени, взявшись за руки, они выходили из комнаты и там, подальше от людских глаз, за какой-нибудь дверью, кидались друг другу в объятия...

А еще приехали на семейное празднество приемные племянники Пека и Зюзя (здесь все еще их так называли, хотя обоим было за тридцать). Вся семья посылала приветы, поцелуи, подарки. И, в довершение всего, — Вовус! Да, да, Вовус, точнее — Владимир Модестович Смолин, преуспевающий врач-стоматолог, кандидат наук, не такой уж юный, но красивый до невозможности, зеленоглазый, ироничный, с какой-то удлинненной, струящейся головой («Мефистофель в белокурое варианте», — определила его Маргарита Антоновна). Мефистофель приехал непосредственно после развода с женой, как он выражался — «лечить свое разбитое сердце», и в самом деле хранил на лице некую мировую скорбь, очень его украшавшую. Сейчас все они хлопотали возле огромного торта (по спецзаказу, подарок Маргариты Антоновны). Сперва хотели установить на нем шестьдесят свечей, но такого количества раздобыть не удалось, и было решено заменить их одной шестидесятисвечевой лампочкой, к которой подсоединить проводку от осветительной сети. Орудовал Гриша, по специальности электрик, Пека и Зюзя давали советы, Вовус взирал на это все с высоты своих лет и ученой степени и клялся, что ничего не выйдет («От крема всегда короткое замыкание»),

а Вика, сжав руки, смотрела на своего Гришу и была горда до страдания... Увидев входящую Веру Платоновну, все они замахали руками: «Нельзя, не смотрите, это сюрприз!» Вера, не глядя на стол, выхватила из шкафа платье и убежала к Маргарите Антоновне — переодеваться.

Платье было сшито специально ко дню рождения — темно-вишневое, с золотой вышивкой, и шло оно Вере необычайно. Она остановилась у зеркала, поправляя затейливо уложенные, слегка взбитые волосы (с утра ходила в парикмахерскую), и, честно говоря, собою залюбовалась. Вера вообще относилась к себе скорей положительно, отовсюду слышала, что мила, моложава, но в этом платье, с этой прической... Ну, лет сорок, сорок пять от силы... Статная, стройная, в меру полная, широкая не от спины к животу, а от бедра к бедру... Платье сидит как влитое, лицо свежее, глаза блестят. Правда, если вглядеться, видны кое-где морщинки и седина у висков проглядывает, но в светлых волосах она незаметна. Слегка нахмурилась, разглядывая в зеркало свою шею. Что ни говори, шея больше всего выдает возраст... Чуть поднатянула ладонями кожу назад — ох, так бы и оставить...

— Нечего тут разглядывать да подтягивать, — сказала Маргарита Антоновна. Самокритика для женщины смерть. Я этим никогда не страдала.

— Да и я, кажется, не страдаю.

— Вот мы какие с вами душеньки. Подойдите-ка сюда, я вас поцелую.

После поцелуя Маргариты Антоновны на щеке у Веры остался след от несмываемой заграничной помады. Попытались оттереть его одеколоном — черта с два!

— Проклятый мир чистогана, — сказала Кунина. — Их нравы! Ну, ничего, придется мне вас поцеловать в другую щеку. Знаете, как в Евангелии: аще кто тебя поцелует в одну щеку, подставь другую...

...К столу Вера вышла, рдея двусторонним румянцем. Все так и ахнули: такой красивой они ее еще не видели...

— А все я, — сказала Маргарита Антоновна.

...Разговор шумел, не умолкая. Гости жужжали, передавая друг другу блюда с неслыханными яствами (Ольга Петровна сияла от гордости). Молодежь ела и хохотала за отдельным столом. Звякали рюмки, звучали тосты. Пили за Веру Платоновну, за ее неувядаемость, за счастье, за успехи в работе («И за ее детей!» — донеслось с молодежного стола). Вика подошла с рюмкой и сама (только подумать — сама!) поцеловала Веру.

— Тетя Вера, я вас люблю.

— Наконец-то удостоилась, — сказала Вера смеясь. — Знаю, девочка моя, знаю, что любишь...

Сосед Михаил Карпович, совсем уже старенький, пья-новатый, сидел по правую руку от Веры и ее уговаривал:

— Ну вот, тебе и шестьдесят. Чем мы не пара? Где шестьдесят, там и семьдесят, а где семьдесят — семьдесят пять. Выходи за меня, ей-богу, не пожалеешь. Умру — все тебе достанется, с собой не унесу.

— Что вы, Михаил Карпович! Вы еще меня похороните...

— А пойдешь за меня?

— Еще погожу. Вот семьдесят стукнет, честное слово, выйду.

— Значит, по рукам?

— По рукам.

Успокоенный, он вплотную занялся индюшачьей ногой. Долго пытался управиться с ней по культурному — ножом и вилкой, потом отбросил церемонии, взял ногу в руку и впился в нее старыми, но еще крепкими зубами...

Праздник шел своим чередом. Без усталости звонил телефон — звали Веру Платоновну. Она подходила, лавируя между стульями, блестя золотой вышивкой, глазами, сережками. Что-то ее несло, качало. Радостно и горько несло, качало. На дверной звонок побежала сама — никого не пустила. Ждала телеграммы. Той заветной — еще не было. Знала, что будет. Так и есть, почтальон.

— Ларичевой две штуки. Ношу и ношу. С именинами вас! Дай бог здоровья, долгого века. Прошу проставить свое расписаньице.

Вера взяла телеграммы, вернулась в комнату, где продолжал сам собою шуметь праздник. Кое-где вразброд уже начались песни. Пели фальшиво, громко, до дребезга в ушах. В одном конце стола орали: «Не слышны в саду даже шорохи...», в другом — «Шумел камыш». Вера села в сторонке на кресло, распечатала первую телеграмму. Она оказалась от ее «министерского поклонника», влиятельного лица:

«Поздравляю вечную Верочку зпт желаю здоровья счастья работе личной жизни предлагаю место директора гостиницы Москве квартира прописка подробности письмом Павел».

Вот тебе и раз! Вера совсем опешила. Даже как-то перепугалась. Лестно, разумеется, но... Это все надо еще обдумать. Не здесь, не на празднике, трезво.

Взяла вторую телеграмму. Сразу забило сердце. Та самая, заветная, очень короткая, без подписи: «Нет слов».

Ей захотелось поцеловать то место, где не было подписи. Она так и сделала — мысленно.

Откуда ни возьмись — Вика. Подошла, легонькая, села на ручку кресла (ручка под ней даже не скрипнула), наклонилась, спросила шепотом (глаза расширены):

— Что-нибудь случилось? Вы так изменились в лице, я подумала...

— Нет, ничего не случилось. По крайней мере, плохого. На читай, что мне предлагают.

Вика прочла телеграмму и сама изменилась в лице:

— Вот это новость! Вы ведь не поедете?

— Не думаю... не знаю... Подробности письмом.

— А вторая... От дяди Сережи? Вера кивнула.

— А там что? Если не секрет. — «Нет слов».

— Так и написано?

— Именно так: «Нет слов».

1975

mir-knigi.org